

## Annotation

Рождество — время чудес. Под Рождество происходят самые удивительные события и открываются тайны. Даже тот, кто не верит в магию Рождества, иногда испытывает ее на себе. Так случилось и со скупым стариком Скруджем. Рождественский дух завладел им вопреки его желанию и заставил окунуться в прошлое и будущее, чтобы понять никчемность своей жизни и научиться видеть истинные ценности. Вместе с Диккенсом в предновогодний заснеженный Лондон нас погружает замечательный художник П.Дж.Линч. Каждая его иллюстрация — маленький шедевр, который будет дарить праздничное настроение и напоминать о Рождестве круглый год.

---

- [Чарльз Диккенс](#)
    - 
    - 
    - [I. Тень Марлея](#)
    - [II. Первый из трех духов](#)
    - [III. Второй из трех духов](#)
    - [IV. Последний из духов](#)
    - [V. Конец](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
-

# Чарльз Диккенс

## Рождественская песня в прозе

*Святочный рассказ Чарльса Диккенса*

*Новый перевод с английского С. Долгова.*

*Ивану Михайловичу Живаго  
в знак глубокого уважения  
и искренней благодарности  
труд свой  
посвящает  
Переводчик.*

# I. Тень Марлея

Марлей умер — начнем с того. Сомневаться в действительности этого события нет ни малейшего повода. Свидетельство об его смерти было подписано священником, причетником, гробовщиком и распорядителем похоронной процессии. Оно было подписано и Скруджем; а имя Скруджа, как и всякая бумага, носившая его подпись, уважались на бирже.

А знал ли Скрудж, что тот умер? Конечно, знал. Иначе не могло и быть. Ведь они с Марлеем были компаньонами Бог весть сколько лет. Скрудж же был и его единственным душеприказчиком, единственным наследником, другом и плакальщиком. Но и тот не был особенно поражен этим печальным событием, и, как истинно деловой человек, почтил день похорон своего друга удачной операцией на бирже.

Упомянув о похоронах Марлея, я поневоле должен вернуться еще раз к тому, с чего начал, т. е., что Марлей несомненно умер. Это необходимо категорически признать раз навсегда, а то в предстоящем моем рассказе не будет ничего чудесного. Ведь если бы мы не были твердо уверены, что отец Гамлета умер до начала пьесы, то в его ночной прогулке, невдалеке от собственного жилища, не было бы ничего особенно замечательного. Иначе стоило любому отцу средних лет выйти в вечернюю пору подышать свежим воздухом, чтобы перепугать своего трусливого сына.

Скрудж не уничтожил на своей вывеске имени старого Марлея; прошло несколько лет, а над конторой по-прежнему стояла надпись: «Скрудж и Марлей». Под этим двойным именем фирма их и была известна, так что Скруджа иногда называли Скруджем, иногда, по незнанию, Марлеем; он отзывался на то и на другое; для него это было безразлично.

Но что за отъявленный кулак был этот Скрудж! Выжать, вырвать, сгрести в свои жадные руки было любимым делом этого старого грешника! Он был тверд и остер, как кремь, из которого никакая сталь не могла извлечь искры благородного огня; скрытный, сдержанный, он прятался от людей, как устрица. Его внутренний холод отражался на его старческих чертах, сказывался в заостренности его носа, в морщинах щек, одеревенелости походки, красноте глаз, синеве его тонких губ и особенно в резкости его грубого голоса. Морозный иней покрывал его голову, брови и небритый подбородок. Свою собственную низкую температуру он всюду приносил с собою: замораживал свою контору в праздничные, не трудовые дни и даже в Рождество не давал ей нагреться и на один градус.

Ни жар, ни холод наружный не действовали на Скруджа. Никакое тепло не в силах было согреть его, никакая стужа не могла заставить его озябнуть. Не было ни ветра резче его, ни снега, который, падая на землю, упорнее преследовал бы свои цели. Проливной дождь, казалось, был доступнее для просьб. Самая гнилая погода не могла донять его. Сильнейший дождь и снег, и град только в одном могли похвалиться перед ним: они часто сходили на землю красиво, Скрудж же не снисходил никогда.

Никто на улице не останавливал его веселым приветствием: «Как поживаете, любезный Скрудж? Когда думаете навестить меня?» Нищие не обращались к нему за милостыней, дети не спрашивали у него, который час; ни разу во всю его жизнь никто не спросил у него дороги. Даже собаки, которые водят слепцов, и те, казалось, знали, что это за человек: как только завидят его, поспешно тащат своего хозяина в сторону, куда-нибудь в ворота или во двор, где, виляя хвостом, как будто хотят сказать своему слепому хозяину: без глаза лучше, чем с дурным глазом!

Но что за дело было до всего этого Скруджу? Напротив, он был очень доволен таким отношением к нему людей. Пробираться в стороне от торной дороги жизни, подальше от всяких человеческих привязанностей, — вот что он любил.

Однажды — это было в один из лучших дней в году, а именно накануне Рождества Христова — старик Скрудж занимался в своей конторе. Стояла резкая, холодная и притом очень туманная погода. Снаружи доносилось тяжелое дыхание прохожих; слышно было, как они усиленно топали по тротуару ногами, били рука об руку, стараясь как-нибудь согреть свои окоченевшие члены. День еще с утра был пасмурный, а когда на городских часах пробило три, то стало так темно, что пламя свечей, зажженных в соседних конторах, казалось сквозь окна каким-то красноватым пятном на непрозрачном буром воздухе. Туман пробивался сквозь каждую щель, чрез всякую замочную скважину и был так густ снаружи, что дома, стоявшие по другую сторону узкого двора, где помещалась контора, являлись какими-то неясными призраками. Смотря на густые, нависшие облака, которые окутывали мраком все окружающее, можно было подумать, что природа сама была здесь, среди людей, и занималась пивоварением в самых широких размерах.

Дверь из комнаты, где занимался Скрудж, была открыта, чтобы ему удобнее было наблюдать за своим конторщиком, который, сидя в крошечной полутемной каморке, переписывал письма. В камине самого Скруджа был разведен очень слабый огонь, а то, чем согревался конторщик,

и огнем нельзя было назвать: это был просто едва-едва тлеющий уголек. Растопить пожарче бедняга не осмеливался, потому что ящик с углем Скрудж держал в своей комнате, и решительно всякий раз, когда конторщик входил туда с лопаткой, хозяин предупреждал его, что им придется расстаться. Поневоле пришлось конторщику надеть свой белый шарф и стараться согреть себя у свечки, что ему, за недостатком пылкого воображения, конечно, и не удавалось.

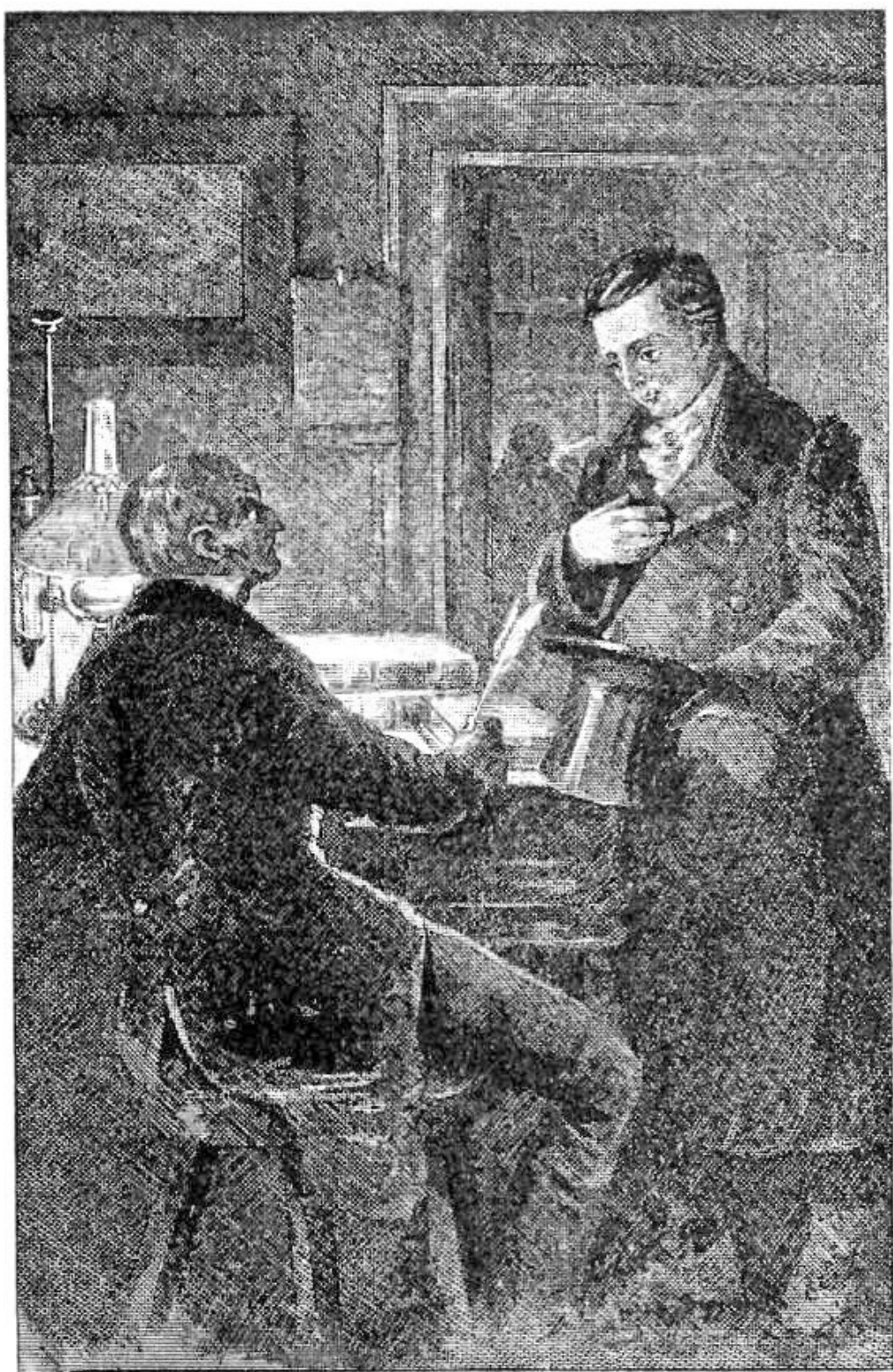
— С праздником, дядюшка! Бог вам на помощь! — послышался вдруг веселый голос.

Это был голос племянника Скруджа, прибежавшего так внезапно, что это приветствие было первым признаком его появления.

— Пустяки! — сказал Скрудж.

Молодой человек так нагрелся от быстрой ходьбы по морозу, что красивое лицо его как бы горело; глаза ярко сверкали, и дыхание его было видно на воздухе.

— Как? — рождество пустяки, дядюшка?! — сказал племянник. — Право, вы шутите.



... — Какъ? — Рождество пустяки, дядюшка?! — сказалъ племянникъ. —  
Право, вы шутите...

Стр. 10.

— Нет, не шучу, — возразил Скрудж. — Какой там радостный праздник! По какому праву ты радуешься и чему? Ты так беден.

— Ну, — весело ответил племянник, — а по какому праву вы мрачны, что заставляет вас быть таким угрюмым? Вы ведь так богаты.

Скрудж не нашелся, что ответить на это и только еще раз произнес:

— Пустяки!

— Будет вам сердиться, дядя, — начал опять племянник.

— Что же прикажете делать, — возразил дядя, — когда живешь в мире таких глупцов? Веселый праздник! Хорош веселый праздник, когда нужно платить по счетам, а денег нет; год прожил, а побогатеть и на грош не побогател — приходит время подсчитывать книги, в которых за все двенадцать месяцев ни по одной статье не оказывается прибыли. О, если б моя воля была, — продолжал гневно Скрудж, — каждого идиота, который носится с этим веселым праздником, я бы сварил вместе с его пудингом и похоронил бы его, проколов ему сперва грудь колом из остролистника [\[1\]](#). Вот чтоб я сделал!

— Дядя! дядя! — произнес, как бы защищаясь, племянник.

— Племянник! — сурово возразил Скрудж, — справляй Рождество, как знаешь, и предоставь мне справлять его по-моему.

— Справлять! — повторил племянник. — Да разве его так справляют?

— Оставь меня, — сказал Скрудж. — Поступай, как хочешь! Много толку вышло до сих пор из твоего празднования!

— Правда, я не воспользовался как следует многим, что могло бы иметь добрые для меня последствия, например Рождество. Но, уверяю вас, всегда, с приближением этого праздника, я думал о нем как о добром, радостном времени, когда, не в пример долгому ряду остальных дней года, все, и мужчины и женщины, проникаются христианским чувством человечности, думают о меньшей братии как о действительных своих спутниках к могиле, а не как о низшем роде существ, идущих совсем иным путем. Я уже не говорю здесь о благоговении, подобающем этому празднику по его священному имени и происхождению, если только что-нибудь, связанное с ним, может быть отделено от него. Поэтому-то, дядюшка, хотя оттого у меня ни золота, ни серебра в кармане не прибавлялось, я все-таки верю, что польза для меня от такого отношения к великому празднику была и будет, и я от души благословляю его!

Конторщик в своей каморке не выдержал и одобрительно захлопал в ладоши, но в ту же минуту, почувствовав неуместность своего поступка, поспешно загреб огонь и потушил последнюю слабую искру.

— Если от вас я услышу еще что-нибудь в этом роде, — сказал Скрудж, — то вам придется отпраздновать свое Рождество потерей места. Однако, вы изрядный оратор, милостивый государь, — прибавил он, обращаясь к племяннику, — удивительно, что вы не член парламента.

— Не сердитесь, дядя. Пожалуйста, приходите к нам завтра обедать.

Тут Скрудж, не стесняясь, предложил ему убраться подальше.

— Почему же? — воскликнул племянник. — Почему?

— Почему ты женился? — сказал Скрудж.

— Потому что влюбился.

— Потому что влюбился! — проворчал Скрудж, как будто это была единственная вещь в мире, еще более смешная, чем радость праздника. — Прощай!

— Но, дядюшка, вы ведь и до этого события никогда не бывали у меня. Зачем же ссылаться на него как на предлог, чтоб не придти ко мне теперь?

— Прощай! — повторил Скрудж вместо ответа.

— Мне ничего от вас не нужно; я ничего не прошу у вас: отчего бы не быть нам друзьями?

— Прощай!

— Сердечно жалею, что вы так непреклонны. Мы никогда не ссорились по моей вине. Но ради праздника я сделал эту попытку и останусь до конца верен своему праздничному настроению. Итак, дядюшка, дай вам Бог в радости встретить и провести праздник!

— Прощай! — твердил старик.

— И счастливого Нового года!

— Прощай!

Несмотря на такой суровый прием, племянник вышел из комнаты, не произнеся сердитого слова. У наружной двери он остановился поздравить с праздником конторщика, который, как ему мы было холодно, оказался теплее Скруджа, так как сердечно ответил на обращенное к нему приветствие.

— Вот еще другой такой же нашелся, — пробормотал Скрудж, до которого донесся разговор из каморки. — Мой конторщик, имеющий пятнадцать шиллингов в неделю да еще жену и детей, толкует о веселом празднике. Хоть в сумасшедший дом бедняга...

*<потеряна строчка или две>*

...проводив племянника Скруджа, впустил двух других людей. Это были представительные джентльмены приятной наружности. Сняв шляпы, они остановились в конторе. В руках у них были книги и бумаги. Они поклонились.



— Это контора Скруджа и Марлея, если не ошибаюсь? — сказал один из господ, справляясь с своим листом. — Имею честь говорить с г. Скрудж или с г. Марлей?

— Г. Марлей умер семь лет тому назад, — ответил Скрудж. — Сегодня ночью минет ровно семь лет со времени его смерти.

— Мы не сомневаемся, что его щедрость имеет достойного представителя в лице пережившего его товарища по фирме, — сказал джентльмен, подавая свои бумаги.

Он сказал правду: это были родные братья по духу. При страшном слове «щедрость» Скрудж нахмурил брови, покачал головой и отстранил от себя бумаги.

— В эту праздничную пору года, г. Скрудж, — сказал джентльмен, беря перо, — более, чем обыкновенно, желательно, чтобы мы немного позаботились о бедных и нуждающихся, которым очень плохо приходится в настоящее время. Многие тысячи нуждаются в самом необходимом; сотни тысяч лишены самых обыкновенных удобств, милостивый государь.

— Разве нет тюрем? — спросил Скрудж.

— Тюрем много, — сказал джентльмен, кладя перо на место.

— А рабочие дома? — осведомился Скрудж. — Существуют они?

— Да, по-прежнему, — ответил джентльмен. — Хотелось бы, чтоб их больше не было.

— Стало быть, исправительные заведения и закон о бедных в полном ходу? — спросил Скрудж.

— В полнейшем ходу и то и другое, милостивый государь.

— Ага! А то я было испугался, слыша ваши первые слова; подумал, уж не случилось ли с этими учреждениями чего-нибудь, что заставило их прекратить свое действие, — сказал Скрудж. — Очень рад это слышать.

— Сознавая, что вряд ли эти суровые способы доставляют христианскую помощь духу и телу народа, — возразил джентльмен, — некоторые из нас взяли на себя заботу собрать сумму на покупку для бедняков пищи и топлива. Мы выбрали это время как такое, когда нужда особенно чувствуется, а изобилие услаждается. Что прикажете записать от вас?

— Ничего, — ответил Скрудж.

— Вы хотите остаться неизвестным?

— Я хочу, чтобы меня оставили в покое, — сказал Скрудж. — Если вы меня спрашиваете, чего я хочу, вот вам мой ответ. Я сам не веселюсь на празднике и не могу доставлять возможности веселиться праздным людям. Я даю на поддержание учреждений, о которых упомянул; на них тратится

не мало, и у кого плохи обстоятельства, пусть туда идут!

— Многие не могут идти туда; многие предпочли бы умереть.

— Если им легче умереть, — сказал Скрудж, — пусть они лучше так и делают; меньше будет лишнего народа. Впрочем, извините меня, я этого не знаю.

— Но вы могли бы знать, — заметил один из посетителей.

— Это не мое дело, — ответил Скрудж. — Довольно для человека, если он понимает собственное дело и не мешает в чужие. Моего дела с меня достаточно. Прощайте, господа!

Ясно видя, что им не достигнуть здесь своей цели, господа удалились. Скрудж принялся за работу с лучшим мнением о самом себе и в лучшем расположении духа, нежели обыкновенно.

Между тем туман и мрак сгустились до такой степени, что на улице появились люди с зажженными факелами, предлагавшие свои услуги идти перед лошадьми и указывать экипажам дорогу. Древняя колокольня, угрюмый старый колокол которой всегда лукаво поглядывал вниз на Скруджа из готического окна в стене, стала невидимой и отбивала свои часы и четверти где-то в облаках; звуки ее колокола так дрожали потом в воздухе, что казалось, как будто в замерзшей голове ее зубы стучали друг об друга от холода. На главной улице, около угла подворья, несколько работников поправляли газовые трубы: у разведенного ими в жаровне большего огня собралась кучка оборванцев, взрослых и мальчиков, которые, жмуря перед пламенем глаза, с наслаждением грели у него руки. Водопроводный кран, оставленный в одиночестве, не замедлил покрыться печально повисшими сосульками льда. Яркое освещение магазинов и лавок, где ветки и ягоды остролистника трещали от жара оконных ламп, отражалось красноватым отблеском на лицах прохожих. Даже лавочки торговцев живностью и овощами приняли какой-то праздничный, торжественный вид, столь мало свойственный делу продажи и наживы. Лорд-мэр в своем громадном, как крепость, дворце отдавал приказания своим бесчисленным поварам и дворецким, чтобы все было приготовлено к празднику, как подобает в хозяйстве лорда-мэра. Даже плюгавый портной, оштрафованный им в прошлый понедельник на пять шиллингов за появление в пьяном виде на улице, и тот, сидя на своем чердаке, мешал завтрашний пудинг, пока худощавая жена его вышла с ребенком купить мяса.

Тем временем мороз все крепчал, отчего туман стал еще гуще. Изможденный холодом и голодом, мальчик остановился у двери Скруджа послать Христа и, нагнувшись к замочной скважине запел было песню:

«Пошли вам Бог здоровья, добрый барин!  
Пусть будет радостен для вас великий праздник!»

Но при первом же звуке его голоса Скрудж схватил линейку так порывисто, что певец пустился с испуга бежать, предоставив замочную щель туману и еще более сродному Скруджу морозу.

Наконец, пришло время запирать контору. Нехотя слез Скрудж с своего табурета и тем молча признал наступление этой неприятной для него необходимости. Конторщик только того и ждал; он моментально задул свою свечу и надел шляпу.

— Вы, полагаю, захотите воспользоваться целым завтрашним днем? — сухо спросил Скрудж.

— Да, если это удобно, сэр.

— Это совсем неудобно, — сказал Скрудж, — и не честно. Если б я удержал полкроны из вашего жалованья, вы наверное сочли бы себя обиженным.

Конторщик слабо улыбнулся.

— Однако, — продолжал Скрудж, — вы не считаете меня обиженным, когда я даром плачу дневное жалованье.

Конторщик заметил, что это бывает только раз в году.

— Плохое извинение в обкрадывании чужого кармана каждое двадцать пятое декабря! — сказал Скрудж, застегивая до подбородка свое пальто. — Но, полагаю, вам нужен целый день. Зато на следующее утро будьте здесь как можно раньше!

Конторщик обещал исполнить приказание, и Скрудж вышел, бормоча что-то про себя. Контора была заперта во мгновение ока, и конторщик, с болтавшимися ниже куртки концами своего белого шарфа (верхнего платья у него не было), раз двадцать прокатился по льду замерзшей канавки позади целой вереницы ребятишек — так рад был он отпраздновать ночь на Рождество — а затем во всю прыть побежал домой в Кэмден Таун играть в жмурки.

Скрудж съел свой скучный обед в своем обычном скучном трактире; затем, прочтя все газеты и проведя остаток вечера в рассматривании своей записной банкирской книжки, отправился домой. Он занимал помещение, принадлежавшее некогда его покойному компаньону. Это был ряд неприглядных комнат в большом, мрачном доме, в глубине двора; этот дом был так не на месте, что иной мог подумать, что, будучи еще молодым домом, он забежал сюда, играя в прятки с другими домами, но, потеряв

дорогу назад, остался здесь. Теперь это было довольно старое здание, угрюмого вида, потому что никто, кроме Скруджа, в нем не жил, а другие комнаты все отдавались под конторы. На дворе стояла такая темнота, что даже Скрудж, знавший каждый камень, которым он был устлан, должен был идти ощупью. Морозный туман так густо навис над старою темною дверью дома, что казалось, как будто гений погоды сидел в мрачном раздумье на его пороге.

Несомненно, что, кроме больших размеров, решительно ничего особенного не было в колотушке, висевшей у двери. Одинаково верно, что Скрудж, за все время пребывания своего в этом доме, видал эту колотушку и утром и вечером. К тому же у Скруджа то, что называется воображением, отсутствовало в одинаковой мере, как и у любого обитателя лондонского Сити<sup>[2]</sup>. Не забудьте при этом, что Скрудж ни разу не подумал о Марлее с тех пор, как при разговоре в конторе он упомянул о совершившейся семь лет тому назад его кончине. И пусть теперь кто-нибудь объяснит мне, если может, каким образом могло случиться, что Скрудж, вкладывая ключ в замок двери, увидел в колотушке, которая никакого непосредственного превращения не потерпела — не колотушку, а лицо Марлея.

Лицо это не было покрыто непроницаемым мраком, окутывавшим другие бывшие на дворе предметы — нет, оно слегка светилось, как светятся гнилые раки в темном погребе. В нем не было выражения гнева или злобы, оно смотрело на Скруджа так, как, бывало, всегда смотрел Марлей — подняв очки на лоб. Волосы стояли дыбом, как будто от дуновения воздуха; глаза, хотя и совершенно открытые, были неподвижны. Вид этот при сине-багровом цвете кожи был ужасен, но этот ужас был как-то сам по себе, а не в лице.

Когда Скрудж пристальнее взгляделся в это явление, оно исчезло, и колотушка стала опять колотушкой.

Сказать, что он не был испуган, и что кровь его не испытала страшного ощущения, которому он был чужд с детства, — было бы неправдой. Но он снова взялся за ключ, который было уже выпустил, решительно повернул его, вошел в дверь и зажег свечку.

Но он остановился на минуту в нерешительности, прежде чем затворил дверь, и сперва осторожно заглянул за нее, как бы отчасти ожидая быть испуганным при виде если не лица Марлея, то косы его, торчащей в сторону сеней. Но сзади двери ничего не было, кроме винтов и гаек, на которых держалась колотушка. Он только произнес: «фу! фу!» — и захлопнул дверь с шумом.

Рассказывают про старинные лестницы, будто по ним можно было

въехать шестериком; а про эту лестницу можно подлинно сказать, что по ней легко бы можно было поднять целую погребальную колесницу, да еще поставив ее поперек, так что дышло приходилось бы к перилам, а задние колеса к стене. Места для этого было бы вдоволь, да и еще осталось бы. По этой, может быть, причине Скруджу представлялось, что перед ним подвигаются в темноте погребальные дроги. Полдюжины газовых фонарей с улицы не осветили бы достаточно входа, — так он был обширен; отсюда вам станет понятно, как мало света давала свеча Скруджа.

Скрудж шел себе да шел, нимало об этом не беспокоясь; потемки не дорого стоят, а Скрудж любил дешевизну. Однако, прежде чем запереть свою тяжелую дверь, он прошел по всем комнатам с целью убедиться, что все было в порядке. У него как раз настолько осталось воспоминания о лице Марлея, чтобы пожелать исполнить эту предосторожность.

Гостиная, спальня, кладовая, — все как следует. Никого не оказалось ни под столом, ни под диваном; в камине маленький огонь; на полке камина приготовленные ложка и миска да небольшая кастрюля с кашницей (у Скруджа была немного простужена голова). Ничего не нашлось ни под кроватью, ни в шкафу, ни в его халате, висевшем в несколько подозрительном положении на стене. В кладовой все те же обычные предметы: старая решетка от камина, старые сапоги, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках и кочерга.

Вполне успокоившись, он запер дверь и при этом дважды повернул ключ, что не было в его обыкновении. Обезопасив себя таким образом от нечаянностей, он снял галстук, надел халат, туфли и ночной колпак, и сел перед огнем есть свою кашницу.

— Пустяки! — сказал Скрудж и стал ходить по комнате.

Пройдясь несколько раз, он сел опять. Когда он откинул голову на спинку кресла, взор его случайно остановился на колокольчике, давно заброшенном, который висел в комнате, и для какой-то, теперь уже забытой, цели был проведен из комнаты, помещавшейся в самом верхнем этаже дома. К великому изумлению и странному, необъяснимому ужасу Скруджа, когда он смотрел на колокольчик, тот начал качаться. Он качался так слабо, что едва производил звук; но скоро он зазвонил громко, и ему начал вторить каждый колокольчик в доме.

Может быть, это продолжалось полминуты или минуту, но Скруджу показалось часом. Колокольчики замолчали так же, как и начали — разом. Затем глубоко внизу послышался звенящий звук, как будто кто-нибудь тащил тяжелую цепь по бочкам в подвале виноторговца. Тут Скруджу пришли на память слышанные им когда-то рассказы, что в домах, где есть

домовые, последние описываются влекущими цепи.

Вдруг дверь погребца с шумом растворилась, звук стал гораздо громче; вот он доносится с пола нижнего этажа, затем слышится на лестнице и, наконец, направляется прямо к двери.

— Все-таки это пустяки! — произнес Скрудж. — Не верю этому.

Однако, цвет лица его изменился, когда, не останавливаясь, звук прошел сквозь тяжелую дверь и остановился перед ним в комнате. В эту минуту угасавшее в камине пламя вспыхнуло, как будто говоря: я знаю его! это дух Марлея! и — снова упало.

— Да, это было то самое лицо. Марлей с своей косой, в своем жилете, узких обтянутых панталонах и сапогах; кисточки на них стояли дыбом, так же как и коса, полы кафтана и волосы на голове. Цепь, которую он носил с собою, охватывала его поясницу и отсюда свешивалась сзади вроде хвоста. Это была длинная цепь, составленная — Скрудж близко рассмотрел ее — из железных сундучков, ключей, висячих замков, конторских книг, деловых бумаг и тяжелых кошельков, обделанных сталью. Тело его было прозрачно, так что Скрудж, наблюдая за ним и смотря чрез его жилетку, мог видеть две задние пуговицы его кафтана.

Скрудж часто слышал от людей, что у Марлея не было ничего внутри, но он никогда до сих пор не верил этому.

Да и теперь он не верил. Как он ни смотрел на призрак, как хорошо ни видел его стоящим пред собою, как ни чувствовал леденящий взор его мертвенно холодных глаз, как ни различал даже самую ткань сложенного платка, которым была подвязана его голова и подбородок, и который он сначала не заметил, — он все-таки оставался неверующим и боролся с собственными чувствами.

— Ну, что же? — сказал колко и холодно, как всегда, Скрудж. — Что тебе от меня нужно?

— Многое! — раздался в ответ несомненный голос Марлея.

— Кто ты?

— Спроси меня, кто я был.

— Это же был ты? — сказал Скрудж, повышая голос.

— При жизни я был твоим компаньоном, Яковом Марлеем.

— Можешь ли ты... можешь ли ты сесть? — спросил Скрудж, сомнительно смотря на него.

— Могу.

— Так сядь.

Скрудж сделал этот вопрос, не зная, может ли дух, будучи таким прозрачным, сесть на стул, и тут же сообразил, что если бы это оказалось

невозможным, вызвало бы необходимость довольно неприятных объяснений. Но привидение село по другую сторону камина, как будто было совершенно привычно к этому.

— Ты не веришь в меня? — заметил дух.

— Нет, не верю, — сказал Скрудж.

— Какого доказательства желал бы ты в моей действительности, сверх своих чувств?

— Я не знаю, — ответил Скрудж.

— Почему ты сомневаешься в своих чувствах?

— Потому, — сказал Скрудж, — что всякая безделица на них влияет. Желудок не в порядке — и они начинают обманывать. Может быть, ты не больше, как непереваренный кусок мяса, комочек горчицы, крошка сыра, частица недоварившейся картофелины. Что бы там ни было, но могильного в тебе очень мало.

Не в привычке Скруджа было отпускать остроты, тем более в эту минуту ему было не до шуток. На самом деле, если он теперь и старался острить, то лишь с целью отвлечь свое собственное внимание и подавить свой страх, так как голос привидения тревожил его до самого мозга костей.

Просидеть и одну минуту, глядя в упор в эти неподвижные стеклянные глаза, было выше его сил. Что еще особенно наводило ужас, это какая-то сверхъестественная атмосфера, окружавшая привидение. Скрудж сам не мог ощущать ее, тем не менее присутствие ее было несомненно, так как, несмотря на полную неподвижность духа, его волосы, фалды и кисточки, — все находилось в движении, как будто ими двигал горячий пар из печки.

— Видишь ты эту зубочистку? — спросил Скрудж, стараясь хотя на секунду отвлечь от себя стеклянный взор своего загробного посетителя.

— Вижу, — ответил дух.

— Ты не смотришь на нее, — сказал Скрудж.

— Не смотрю, но все-таки вижу, — отвечал дух.

— Так, — возразил Скрудж. — Стоит мне только проглотить ее, чтобы на весь остаток моей жизни подвергнуться преследованию целого легиона привидений; и все это будет дело собственных рук. Пустяки, повторяю тебе, пустяки!

При этих словах дух поднял страшный крик и с таким ужасающим звуком потряс своею цепью, что Скрудж крепко ухватился за кресло, боясь упасть в обморок. Но каков был его ужас, когда привидение сняло с головы свою повязку, как будто ему стало жарко от нее в комнате, и нижняя челюсть его упала на грудь.

Скрудж бросился на колена и закрыл лицо руками.

— Смилуйся, страшное видение! — произнес он. — За что ты меня мучаешь?





...Скруджъ бросился на колѣна и закрылъ лицо руками...

Стр. 30.

— Человек земных помыслов! — воскликнул дух, — веришь ли ты в меня или нет?

— Верю, — сказал Скрудж. — Я должен верить. Но зачем духи ходят по земле и для чего являются они ко мне?

— От всякого человека требуется, — ответило видение, — чтобы дух, живущий в нем, посещал своих близких и ходил для этого повсюду; и если этот дух не странствует таким образом при жизни человека, то осуждается на странствование после смерти. Он обрекается скитанию по свету — о, увы мне! — и должен быть свидетелем того, в чем участия принять уже не может, но мог бы, пока жил на земле, и тем достиг бы счастья!

Дух снова поднял крик, потрясая свою цепь и ломая себе руки.

— Ты в оковах, — сказал Скрудж дрожа. — Скажи, почему?

— Я ношу цепь, которую сковал себе при жизни, — ответил дух. — Я работал ее звено за звеном, ярд за ярдом; я опоясался ею по своей собственной воле и по собственной же свободной воле ношу ее. Разве рисунок ее не знаком тебе?

Скрудж дрожал все сильнее и сильнее.

— И если бы ты знал, — продолжал дух, — как тяжела и длинна цепь, которую ты сам носишь! Еще семь лет тому назад она была так же тяжела и длинна, как вот эта. А с тех пор ты над ней много потрудился. О, это тяжелая цепь!

Скрудж посмотрел на пол около себя, ожидая увидеть себя окруженным пятидесятисаженным железным канатом, однако ничего не увидал.

— Яков! — произнес он умоляющим тоном. — Старинный мой Яков Марлей, поведай мне еще. Скажи мне что-нибудь утешительное, Яков.

У Скруджа была привычка опускать руки в карманы брюк, когда он задумывался. Так сделал он и теперь, размышляя о словах духа, но все не поднимая глаз и не вставая с колен.

— Ты, должно быть, очень медленно совершаешь свое путешествие, Яков, — заметил Скрудж деловым, хотя и почтительно-скромным тоном.

— Медленно! — повторил дух.

— Семь лет как умер, — удивлялся Скрудж, — и все еще странствует.

— Да, все время, — сказал дух, — не зная ни отдыха, ни покоя, и под непрерывной пыткой угрызения совести.

— Ты скоро путешествуешь? — спросил Скрудж.

— На крыльях ветра.

— Много ты успел пройти за семь лет.

При этих словах дух снова вскрикнул и так неистово загремел своею цепью среди мертвой тишины ночи, что полиция была бы в праве назвать это нарушением порядка.

— О, жалкий узник, скованный по рукам и по ногам! — воскликнуло привидение. — Не знать, что века непрестанного труда бессмертных творений должны отойти в вечность, прежде чем восполнится мера добра, на которое земной мир способен. Не знать, что всякая христианская душа, делающая добро в своей ограниченной области, какова бы она ни была, не может не видеть, что земная жизнь ее слишком коротка для ее обширных средств к добру и служению ближним. Не знать, что никакие века раскаяния не могут возратить того, что упущено при жизни! А я был таким! О, я был таким!

— Но ведь ты всегда был хорошим деловым человеком, Яков, — произнес Скрудж, который начал прилагать это к себе.

— Деловой! — воскликнул дух, опять ломая себе руки. — Заботы о человеческом роде, об общем благе были моим делом; любовь к ближнему, милосердие и благотворительность, — все это было моим делом. Занятия торговлей составляли лишь каплю в обширном океане моих трудов.

Он вытянул руку, держа свою цепь, как будто в ней была причина его бесплодных сокрушений, и с силою бросил ее опять на пол.

— В эту пору истекающего года, — сказал дух, — я страдаю больше всего. Зачем я, проходя между толпами своих ближних, смотрел все вниз и ни разу не поднял глаз на ту благословенную звезду, которая привела мудрецов к убогому жилищу? Разве не было бедных домов, к которым свет ее привел бы меня!

Скруджу страшно было это слышать, и он начал дрожать всем телом.

— Слушай! — воскликнул дух. — Мне остается мало времени.

— Я буду слушать, — сказал Скрудж. — Но не будь жесток ко мне! Говори проще, Яков! Прошу тебя!

— Как это происходит, что я являюсь перед тобою в видимом для тебя образе, того я не могу сказать тебе. Невидимо я сидел рядом с тобою в течение многих, очень многих дней.

Мысль об этом была не из приятных. Скрудж содрогнулся и вытер выступивший у него на лбу пот.

— Это одна из моих сильнейших очистительных жертв, — продолжал дух. — В эту ночь я здесь для того, чтобы предупредить тебя, что у тебя есть еще случай и надежда избежать моей участи. Тем и другим ты мне обязан, Эбенизер.

— Ты был мне всегда хорошим другом, — сказал Скрудж. —

Благодарю тебя!

— К тебе явятся, — возразило видение, — три духа.

Лицо Скруджа сделалось при этих словах почти так же длинно, как и у его загробного посетителя.

— Это тот самый случай и надежда, о которых ты упомянул, Яков? — спросил он голосом виноватого.

— Да.

— Знаешь что? Мне бы этого не хотелось, — сказал Скрудж.

— Без их посещения, — ответил дух, — ты не можешь надеяться избежать пути, которым я иду. Ожидай первого завтра, когда пробьет час.

— Нельзя ли мне принять их всех сразу и тем покончить с ними, Яков? — вставил Скрудж.

— Ожидай второго в следующую ночь и в тот же час. Третьего — еще через сутки, как только пробьет полночь. Меня больше не жди, но ради собственного блага не забудь того, что произошло между нами!

Сказав эти слова, привидение взяло со стола свою повязку и по-прежнему подвязало ею голову. Скрудж узнал об этом по легкому звуку, произведенному зубами привидения, когда повязкой челюсти были сдвинуты вместе. Он решился снова поднять глаза и увидал, что его сверхъестественный собеседник уже стоит перед ним, и цепь по-прежнему обвита вокруг его тела и руки.

Привидение стало отодвигаться от него задом, и с каждым его шагом окно понемногу открывалось, так что, когда дух дошел до него, оно было уже открыто настежь. Он знаком приказал Скруджу приблизиться, что тот и сделал. Когда они были на расстоянии двух шагов друг от друга, дух Марлея поднял руку, предупреждая его не подходить ближе. Скрудж остановился, но не столько из повиновения, сколько пораженный удивлением и страхом, потому что в то мгновение, как привидение подняло руку, до слуха Скруджа донесся раздававшийся в воздухе неясный шум каких-то несвязных воплей раскаяния, невыразимо горестных стонов самообвинения. Привидение, прислушавшись на минуту, затянуло ту же жалобную песнь и исчезло в мраке холодной ночи.

Скрудж подошел к окну и, влекомый любопытством, выглянул наружу.

Воздух был наполнен привидениями, которые, жалобно стеля, безостановочно носились взад и вперед. Каждое из них тащило цепь, похожую на цепь Марлея; некоторые были скованы вместе, но ни одно не свободно от уз. Многих Скрудж знал лично при их жизни. Особенно близко знаком он был когда-то с одним из них: это был старик, в белом жилете; к ноге его был привязан громадный железный сундук; старик горько и

громко плакал, что не в состоянии помочь бедной женщине с ребенком, которую видел внизу у порога одного дома. Горе всех их, очевидно, заключалось в том, что им хотелось бы вмешаться, с доброю целью, в людские дела, но возможность для этого миновала для них навсегда.

Сами ли эти существа поблекли в тумане, или туман закутал их, Скрудж не мог сказать. Но с исчезновением их смолкли и их неземные голоса, и ночь стала опять такою же, какою она была, когда он шел домой.

Скрудж закрыл окно и осмотрел дверь, чрез которую вошел дух. Она оказалась на двойном запоре, как он собственноручно запер ее, и задвижки были не тронуты. Он было хотел опять сказать: «пустяки», но удержался на первом же слогe. Затем, от перенесенных ли им волнений, вследствие ли дневных трудов, или мимолетно упавшего на него отблеска невидимого мира, или от печальной беседы с духом, или, наконец, за поздним часом ночи, — но он сильно нуждался в покое; поэтому, не раздеваясь, лег в постель и в ту же минуту заснул.

## II. Первый из трех духов

Когда Скрудж проснулся, было так темно, что, выглянув из-за занавесок постели, он едва мог различить просвет окна от непрозрачных стен своей комнаты. Пока он усиливался проникнуть сквозь темноту своими зоркими, как у хорька, глазами, колокола соседней церкви пробили четыре четверти. Он стал прислушиваться, сколько они пробьют часов.

К великому его удивлению, тяжелый колокол переходил от шести к семи, от семи к восьми и так по порядку, пока пробил, наконец, двенадцать и — остановился. Двенадцать! Был третий час, когда он лег в постель. Часы врут. Должно быть, сосулька льда попала в их механизм. Неужели двенадцать часов!

Он нажал пружинку своего репетитора, чтобы узнать настоящий час. Репетитор быстро прозвонил двенадцать и смолк.

— Как? Не может быть, чтобы я проспал целый день и прихватил еще изрядную часть следующей ночи. Нельзя же допустить, чтобы что-нибудь случилось с солнцем, и что теперь двенадцать часов дня? — сказал Скрудж.

Так как эта мысль не могла не встревожить его, то он кое-как выбрался из постели и ощупью добрал до окна. Ему пришлось рукавом халата протереть замерзшее стекло, прежде чем он мог увидеть что-нибудь, да и тогда почти ничего не было видно. Оказалось только, что по-прежнему стоял густой туман, и было очень холодно, на улице никакого шума, ни малейшей суетни; а это непременно бы случилось, если бы ночь нагрелась вдруг, среди белого дня, и завладела светом. Легко вздохнул Скрудж, убедившись, что с этой стороны тревога его была напрасна. А то представьте себе беспомощное положение человека: текст векселя гласит: «через три дня по предъявлении заплатите Эбенизеру Скрудж или его приказу» и т. д. — а какие же тогда дни считать?

Скрудж снова улегся в постель и начал думать, думать и думать, но ни до чего не мог додуматься. Чем больше он думал, тем больше становился в тупик, и чем больше старался не думать, тем неотвязчивее были его мысли. Дух Марлея решительно не давал ему покоя. Каждый раз, как он, после зрелого размышления, решал в себе, что все это был сон, ум его отпрядывал опять назад, подобно отпущенной пружине, к своему первому положению и представлял на решение все ту же задачу: «сон это был или нет?»

Скрудж пролежал в этом состоянии, пока часы пробили еще три

четверти. Тогда он вдруг вспомнил слова Марлея, что один из возвещенных им посетителей явится, когда колокол пробьет час. Он решил лежать с открытыми глазами, пока этот час не наступит. Если принять в соображение, что ему так же трудно было бы заснуть, как и взойти на небо, то это было, пожалуй, самое мудрое решение, на котором он мог остановиться.

Эта четверть тянулась так долго, что Скрудж не один раз приходил к убеждению в том, что незаметно для себя засыпал и не слышал боя. Наконец, до его напряженного слуха донесся первый удар. «Дин, дон!»

— Четверть, — сказал Скрудж, прислушиваясь.

«Дин, дон!»

— Половина, — сказал Скрудж.

«Дин, дон!»

— Три четверти, — сосчитал Скрудж.

«Дин, дон!»

— Вот и час, — произнес Скрудж, торжествуя, — а ничего нет!

Он проговорил эти слова прежде, чем замер последний звук колокола, отличавшийся на этот раз каким-то особенно глубоким, глухим, печальным тоном. В комнате вдруг блеснул свет, и занавески его постели раздвинулись.

Заметьте: они были раздвинуты рукою; не те занавески, что приходились у него над головою, и не те, что были сзади, но именно та часть их, куда обращено было его лицо. Пораженный таким неожиданным явлением, Скрудж привскочил наполовину и очутился лицом к лицу с неземным посетителем, который их отодвинул. Он очутился к нему так же близко, как я к вам теперь.



...Скруджъ привскочилъ наполовину и очутился лицомъ къ лицу съ  
неземнымъ посѣтителемъ...

Стр. 42.



Это была странная фигура — как будто ребенок, но в то же время еще более похожая на старика. Смотреть на нее приходилось сквозь какую-то сверхъестественную среду, благодаря которой она виднелась как бы вдалеке, и от расстояния размеры ее казались детскими. Волосы призрака свешивались ему на шею и спину и были старчески белы; но на лице не было ни морщинки, и самый нежный пушок покрывал его кожу. Руки были длинны и мускулисты, как бы обличая необыкновенную силу. Ноги, очень изящно сложенные, были, как и верхние конечности, голы. Стан его одевала белая, как снег, туника, а талию охватывал восхитительно блестящий пояс. В руках он держал свежую ветку зеленого остролистника, за то, в противоположность этой эмблеме зимы, платье его было украшено летними цветами. Всего же замечательнее в нем было то, что с верхушки его головы выходил яркий луч света, которым все это и освещалось. Наверное, по причине этого света у него под мышкой вместо шапки был большой гасильник, который он надевал на себя в минуты своего затмения.

Но даже и не это еще оказалось самою странною особенностью призрака, когда Скрудж пристально всмотрелся в него. Верхом чудесного был пояс: он искрился и переливался то в одной, то в другой своей части; то, что светилось в одну минуту, было темно в другую, а вместе с ним то освещалась, то помрачалась и самая фигура видения; то у него одна рука, то одна нога, то вдруг как бы двадцать ног, или две ноги без головы, или одна голова без тела, так что никак нельзя было уловить очертания его отдельных частей, когда они вдруг быстро исчезали, едва успев осветиться. Потом все эти переливы внезапно пропадали, и призрак становился опять самим собою, ясным и лучезарным по-прежнему.

— Ты дух, появление которого было мне предсказано? — спросил Скрудж.

— Я.

Голос был приятный и нежный и настолько тихий, что как будто доносился издалека.

— Кто и что ты? — осведомился Скрудж.

— Я дух прошедшего Рождества.

— Давно прошедшего? — допытывался Скрудж, смотря на маленький рост призрака.

— Нет, твоего прошедшего.

Скруджу очень хотелось посмотреть на духа в шапке, и он попросил его накрыться. Вероятно Скрудж и не сумел бы объяснить этого желания,

если бы кто-нибудь спросил его.

— Как! — воскликнул дух, — уже так скоро ты хочешь своими земными руками погасить свет, который я даю? Разве не довольно того, что ты принадлежишь к числу людей, чьи страсти создали эту шапку и заставляют меня в течение долгого ряда лет носить ее нахлобученною до бровей!

Скрудж почтительно отрекся от всякого намерения нанести духу обиду, а тем менее сознательно. Затем, он смело спросил его, по какому делу он к нему явился.

— Ради твоего благополучия! — сказал дух.

Скрудж выразил свою благодарность, но не мог не подумать, что этой цели скорее соответствовала бы ночь ненарушимого покоя. Вероятно дух узнал его мысль, и сказал:

— Ну, так ради твоего исправления. Берегись!

Говоря это, он своею сильною рукою схватил руку Скруджа.

— Вставай и иди со мною!

Напрасно стал бы Скрудж представлять резоны против удобства путешествовать пешком в такую погоду и в такой час; тщетно бы он стал доказывать, что в постели тепло, а термометр показывает гораздо ниже нуля, что одет он очень легко: в туфлях, халате да ночном колпаке, и что ему не совсем здоровится: рука хотя и нежная, как у женщины, не допускала сопротивления. Он встал, но, видя, что дух направляется к окну, с мольбою схватился за его платье

— Я смертный, — упрашивал он, — и могу упасть.

— Дай мне только коснуться тебя вот здесь, — сказал дух, кладя ему руку на сердце, — и тогда ты и больше этого вынесешь!

Едва были произнесены эти слова, как они прошли сквозь стену и очутились на открытой проселочной дороге, по обеим сторонам которой широко расстилались поля. Город совершенно исчез из вида, незаметно было и следа его. Вместе с ним пропали и темнота и туман, так как стоял ясный, холодный зимний день, и снег покрывал землю.

— Бог мой! — воскликнул Скрудж, всплеснув руками и осматриваясь по сторонам. — Я родился здесь. Я был здесь мальчиком!

Дух кротко поглядел на него. Его нежное прикосновение, хотя оно было легко и кратковременно, еще живо отзывалось в ощущениях старика. Он почувствовал тысячи благоуханий, носившихся в воздухе, и каждое из них соединялось для него с тысячами мыслей и надежд, и забот, и радостей, давно, давно забытых!

— У тебя дрожат губы, — сказал дух. — А что это у тебя на щеке?

Скрудж с необычною для него дрожью в голосе невнятно ответил, что это родинка, и попросил духа вести его, куда он хочет.

— Ты помнишь эту дорогу? — спросил дух.

— Как не помнить! — отозвался Скрудж горячо. — Я бы мог пройти по ней с завязанными глазами!

— Странно, что ты столько лет об ней не вспомнил, — заметил дух. — Пойдем дальше.

Они пошли вдоль дороги. Скрудж узнавал каждые ворота, каждый столб, каждое дерево. Наконец, вдали стал виден небольшой городок с мостом, церковью и выющеюся, как лента, рекой. Навстречу им показалось несколько мохнатых пони, на которых ехали верхом мальчишки, перекликавшиеся с другими мальчиками, ехавшими в деревенских телегах и повозках, где кучерами были фермеры. Все эти мальчики были очень веселы и так громко переговаривались между собою, что крики их далеко разносились по широким полям, раскатываясь в свежем морозном воздухе.

— Это лишь тени былых вещей, — сказал дух. — Они не замечают нашего присутствия.

Веселые путники скоро поравнялись с ними, и тут Скрудж узнавал всех, называя каждого по имени. Отчего это ему так невыразимо приятно было видеть их? Отчего так блистал его холодный взор, так трепетало его сердце, когда они проезжали мимо? Отчего он полон был радости, слыша их взаимное приветствие с веселым праздником, когда они разъезжались при поворотах по разным дорогам, направляясь каждый под свою родную кровлю? Что значит веселое Рождество для Скруджа? Прочь с веселым Рождеством! Что доброго он видел от него когда-нибудь?

— Школа еще не совсем опустела, — сказал дух. — Там еще остался один ребенок, о котором забыли его друзья.

Скрудж сказал, что ему это известно, и вздохнул.

Они повернули с большой дороги в хорошо памятный ему переулок и скоро дошли до неприглядного здания из красного кирпича; на крыше его возвышался увенчанный флюгером купол, под которым висел колокол. Это был обширный дом, когда-то богатый, а теперь запущенный; его просторные комнаты были почти пусты, стены сыры и покрыты мохом, окна повывбиты, двери покосились. В конюшнях бродили, кудахтая, куры, а сараи и навесы поросли травой. Да и внутри дома не больше оставалось следов прежнего его состояния: когда они вошли в мрачные сени и заглянули чрез открытые двери в целый ряд комнат, то оказалось, что хотя они были велики, но холодны и очень бедно меблированы. В воздухе пахло гнилью; голо и безжизненно смотрело все кругом; вообще как-то

чувствовалось, что здесь любили вставать при свечах и питаться впроголодь.

Дух и Скрудж направились чрез сени к двери, ведущей в заднюю половину дома. Дверь перед ними растворилась и открыла глазам их длинную, без всяких украшений, мрачную комнату, которая еще тоскливее казалась от расставленных в ней рядами скамеек и конторок. За одной из них, недалеко от едва топившегося камина, сидел одинокий мальчик и читал книгу. И Скрудж сел на одну из скамеек и горько заплакал при виде этого бедного забытого ребенка, в котором он узнал себя.

Каждый едва уловимый звук, раздававшийся в доме: и возня мышей за стенной панелью, и капель полуоттаявшего жёлоба на заднем дворе, и легкий шум ветвей безлистного унылого тополя, и скрип двери в пустой кладовой, и слабое потрескивание огня, — все отзывалось в сердце Скруджа смягчающим влиянием, и все свободнее и свободнее текли его слезы.

Дух дотронулся до его руки и указал ему на прежнего маленького Скруджа, углубившегося в свое чтение. Вдруг под окном явился какой-то человек в странной чужеземной одежде, но совсем как настоящий, живой человек, с топором за поясом и державший в поводу осла, нагруженного дровами.

— Ах, да это Али-Баба! — закричал Скрудж в восторге. — Это дорогой, честный старик Али-Баба! Да, да, знаю! Один раз, на Рождестве, как тот покинутый ребенок оставался здесь совсем один, он пришел в первый раз совсем вот как сейчас. Бедный мальчик! И Валентин, — продолжал Скрудж, — и его дикий брат, Орсон, вон они идут! А как, бишь, зовут того, что спящим был спущен в своих панталонах у ворот Дамаска; разве ты не видишь его? А султанский конюх, которого гении поставили вверх ногами! вон он на голове стоит! Поделом ему. Я очень рад. С какой стати ему жениться на принцессе!

Если бы кто-нибудь из деловых друзей Скруджа посмотрел на него в эту минуту, когда он, откинув всю серьезность своей натуры, так искренно увлекался подобными вещами, выражая свой восторг самым необыкновенным голосом, и смеясь и плача в одно и то же время, тот, наверное, не поверил бы собственным глазам.

— А вот и попугай! — воскликнул Скрудж. — Сам зеленый, а хвост желтый, и на голове точно салат вырос, вот он! Бедный Робин Крузо! — кричал он ему, когда тот возвращался домой, объехав весь остров. — Бедный Робин Крузо, где ты был, Робин Крузо? Человек подумал, что во сне это слышит; совсем нет. Это был попугай, ты знаешь. Вон Пятница

ищет спасения в бегстве, спеша к заливу! Гип, гоп, ура!

Вдруг, с весьма чуждою его обычному характеру быстротою перехода, он, жалея своего прежнего я, произнес:

— Бедный мальчик!

И опять заплакал.

— Хотелось бы, — проговорил Скрудж невнятно, опуская руку в карман и смотря около себя, вытерев себе сперва глаза рукавом, — но теперь уже поздно.

— В чем дело? — спросил дух.

— Ничего, — ответил Скрудж. — Ничего. Вчера какой-то бедный мальчик приходил было ко мне Христа славить. Мне хотелось бы дать ему что-нибудь, вот и все.

Дух задумчиво улыбнулся и махнул рукою, говоря:

— Посмотрим другое Рождество!

При этих словах прежний маленький Скрудж стал больше, и комната сделалась несколько темнее и грязнее. Панели растрескались; стекла в окнах полопались; штукатурка с потолка местами пообвалилась, обнажив решетку из драни; но как все совершилось, Скрудж так же мало знал, как и вы. Одно он только знал, что все это было верно, все это так и произошло когда-то на самом деле — что он опять был одинок здесь, когда все другие мальчики уехали по домам веселиться на праздниках.

Только он не читал теперь, а ходил взад и вперед в отчаянии. Скрудж посмотрел на духа и, грустно покачивая головою, в тоскливом ожидании глядел на дверь.

Она отворилась, и в нее быстро вбежала девочка, гораздо моложе мальчика, и, обвив его шею руками и целуя, называла его: «милый, милый братец».

— Я за тобой приехала, милый братец! — сказала она, всплеснув своими тонкими ручонками и готовясь рассмеяться. — Домой, домой повезу тебя, домой!

— Домой, Фанни? — переспросил мальчик.

— Да! — воскликнул ребенок, сияя от радости. — Домой совсем и навсегда. Отец стал теперь гораздо добрее; дома у нас как в раю! Он так ласково говорил со мною как-то вечером, когда я шла спать, что я не побоялась спросить его, можно ли тебе вернуться к нам, и он сказал: «да, он вернется», и велел мне за тобою ехать. И ты будешь мужчиной! — сказал ребенок, раскрывая глаза, — и никогда уже больше сюда не вернешься; но сначала мы вместе проведем все праздники и навеселимся досыта.

— Ты у меня совсем большая, Фанни! — сказал мальчик.

Она ударила в ладоши и, весело смеясь, старалась достать до его головы; но так как была еще мала ростом, то только опять засмеялась и встала на цыпочки, чтобы обнять его. Затем она начала со свойственной детям настойчивостью тащить его к дверям, куда очень охотно он и пошел за нею.

Вдруг раздался страшный голос: «Снесите вниз сундук мастера Скруджа!» — и в сенях появился сам школьный учитель; он посмотрел на мастера Скруджа с каким-то свирепым снисхождением и, подав ему руку, привел его в состояние ужаса. Затем он повел обоих в свою холодную и сырую гостиную, где висевшие на стенах карты и расставленные по окнам глобусы от холода покрыты были точно инеем. Тут он достал графин с замечательно легким вином и кусок замечательно тяжелого пирога и начал угощать этим детей. В то же время велел своему тощему слуге вынести стаканчик «чего-нибудь» кучеру; тот велел поблагодарить барина, сказав, впрочем, что если это такой же напиток, какой он пробовал прошлый раз, то «лучше не надо». Так как за это время багаж мастера Скруджа оказался уже привязанным на верху экипажа, то дети очень охотно поспешили распрощаться с учителем, сели в повозку и весело покатали домой.

— Она была всегда очень нежного сложения, готовая увянуть от малейшего ветерка, — сказал дух. — За то какое любящее было у нее сердце!

— Твоя правда, — отозвался Скрудж. — Спаси меня Бог отвергать это.

— Она умерла уже замужем, — прибавил дух, — и, кажется, у нее были дети.

— Один только ребенок, — поправил Скрудж.

— Верно, — сказал дух. — Это твой племянник.

Скрудж почувствовал себя неловко и коротко ответил: «Да».

Хотя и минуты не прошло еще, как они покинули школу, но успели уже очутиться в оживленной части какого-то города, где происходила обычная уличная суeta, двигались взад и вперед прохожие, теснились, прокладывая себе дорогу, всевозможные экипажи и тяжелые фуры. По убранству лавок очевидно было, что и здесь справлялось Рождество; но был вечер, и на улицах горели фонари.

Дух остановился у дверей одной конторы и спросил Скруджа, знакома ли она ему.

— Еще бы! — ответил он. — Ведь я здесь был в ученьи!

Они вошли. При виде пожилого господина в большом парике, сидевшего за такой высокой конторкой, что если бы она только еще на

вершок была повыше, то он ударился бы головой о потолок, Скрудж в сильном волнении воскликнул:

— Да ведь это старик Феззивиг! Ей-Богу, это он, живой опять!

Старый Феззивиг положил перо и посмотрел на часы, которые показывали семь. Он потер руки, поправил свой широкий жилет и, как бы улыбаясь всем своим существом, приятным, жирным, веселым голосом крикнул:

— Эй, где вы там! Эбенизер! Дик!

Прежний Скрудж, теперь уже молодой человек, быстро вбежал в комнату вместе со своим товарищем, другим учеником.

— Так и есть, это Дик Вилькинс! — сказал Скрудж, обращаясь к духу. — Ах, Господи, он это, он! Как он был ко мне привязан, бедный, милый Дик.

— Вот что, ребятушки, — сказал Феззивиг. — Довольно работать. Настал Рождественский вечер. Закрывайте-ка ставни, да, чур, живо! — вдруг воскликнул он, громко ударив в ладоши.

Вы бы не поверили, как дружно принялись они за работу. Раз, два, три — и молодцы были уже со ставнями на улице; четыре, пять, шесть — и они вдвинули их на место; семь, восемь, девять — и они наложили задвижки и закрепили их, и, прежде чем вы успели бы досчитать до двенадцати, они были уже опять в комнате, дыша как заморившиеся кони.

— Теперь, — воскликнул старый Феззивиг, удивительно ловко спрыгивая с своего высокого табурета, — убирайте здесь, ребятушки, убирайте, чтобы побольше было нам места. Живо, Дик! Веселей, Эбенизер!

Какое тут убирать! Чего бы они только ни убрали, когда за ними смотрел старый Феззивиг. В минуту все было сделано. Все, что можно было сдвинуть, было вытащено, будто оказалось навсегда излишним; пол выметен и вспрыснут, лампы оправлены, в камин подкинута угля, и торговое помещение превратилось в приличную, теплую, сухую, ярко освещенную бальную залу.

Вот вошел скрипач с нотами и, расположившись на высокой конторке, начал жалобно настраивать свою скрипку. Вот вошла мистрисс Феззивиг, изображая собою одну широкую улыбку. Вошли три красивые и лучезарные девицы Феззивиг. Вошли шестеро вздыхавших по ним молодых людей. Вошли все молодые мужчины и женщины, бывшие при деле. Вошла горничная с своим двоюродным братом, пекарем. Вошла кухарка с близким другом своего брата, молочником. Явился и мальчик из лавки, что по ту сторону улицы, о котором рассказывали, будто хозяин плохо кормит его; войдя в комнату, он старался спрятаться за девочкой из соседнего

заведения, относительно которой было удостоверено, что хозяйка таскала ее за уши. Все явились один за другим; одни робко, другие смело, одни грациозно, другие неуклюже, одних как будто кто толкал, других точно тянули насильно. Но как бы то ни было, все пришли, все были налицо. Начались танцы. Сразу двадцать пар пошли под звуки скрипки, двигаясь то гусем все направо, то так же все налево, то на середину, то опять назад, проделывая целый ряд мудренейших фигур. По окончании последней старик Феззивиг ударом в ладоши подал знак остановиться, и скрипач не замедлил жадно погрузить свое разгоряченное лицо в приготовленную для него кружку с портером. Но, вынырнув оттуда, он, вместо отдыха, когда никто еще и не собирался танцевать, вдруг запиликал снова, и с таким жаром, как будто прежний скрипач, как выбившийся окончательно из сил, был замертво отнесен домой на ставне, а это был совсем свежий музыкант, решившийся, во что бы то ни стало, или затмить своего предшественника или погибнуть.

Опять пошли танцы, за танцами — фанты, за фантами — снова танцы; затем подавался пирог, после пирога глинтвейн, за ними огромные части холодного мяса в двух видах, пирожки с коринкой и, наконец, обильное количество пива. Но самый эффектный момент вечера наступил после этих угощений, когда скрипач — лукавый был он мужчина и куда как тонко понимал свое дело — заиграл «Сир Роджер ди Коверлей». Тут выступили на сцене старый Феззивиг и мистрисс Феззивиг, составив первую пару. Не легкое предстояло им дело в виду целых двадцати, если не больше, пар участников; с этим народом шутить было нельзя: уж никак не ходить они собирались, а танцевать, и танцевать как следует.





Но, будь их вдвое, куда — вчетверо больше, старик, а также и мистрисс Феззивиг, не ударили бы в грязь лицом перед ними. Что ее касается, это была дама достойная своего кавалера во всех отношениях; а это ли не похвала? Как две луны мелькали икры Феззивига. Напрасно бы вы старались предугадать, что они изобразят собою в следующее же мгновение. Когда старик с супругою проделали все должные фигуры, Феззивиг закончил танец, так ловко выкинув последнее колено, будто мигнул ногами в воздухе, и твердо, не качнувшись, опустился на пол.

Когда пробило одиннадцать часов, этот домашний бал кончился. Мистер и мистрисс Феззивиг заняли места по обе стороны двери и, подавая руку каждому из расходившихся гостей, поздравляли их с праздником, желая весело провести его. Когда очередь дошла до двух учеников, хозяева и их приветствовали подобным же образом. Так постепенно смолкли

веселые голоса, и мальчики были отпущены спать. Постели их помещались под прилавком в задней комнате конторы.

В течение всего этого времени Скрудж был как бы вне себя. Его сердце и душа переселились в его прежнее я и вместе с ним переживали все происходившее перед его глазами. Он все чувствовал, все вспоминал, всему радовался и находился в сильнейшем возбуждении. Только когда скрылись из вида довольные лица его прежнего я и его товарища Дика, вспомнил он о духе и заметил, что тот пристально на него смотрит, и свет на его голове горит особенно ярко.

— Немногое нужно, — сказал дух, — чтобы вызвать такое чувство благодарности у этих простоватых людей.

— Немногое! — отозвался Скрудж.

Дух сделал ему знак прислушаться к разговору обоих учеников, изливавших свою душу в похвалах Феззивигу, и потом сказал:

— Не правда ли? Ведь куда как немного истратил он ваших презренных денег, всего каких-нибудь три-четыре фунта<sup>[3]</sup>. Неужели это большая сумма, чтоб он заслуживал подобной похвалы!

— Не в том дело, — сказал Скрудж, возбужденный этим замечанием и говоря бессознательно языком своего прежнего, а не настоящего я. — Не в этом дело, дух. В его власти сделать нас счастливыми или несчастными, сделать нашу службу легкою или тяжелою, удовольствием или трудной работой. Действительно, власть его заключается в словах и взглядах, в вещах столь легких и незначительных, что нет возможности собрать и сосчитать их. Но что из этого? Сообщаемое им счастье стоит целого состояния.

Он почувствовал на себе взгляд духа и остановился.

— Что с тобой? — спросил дух.

— Ничего особенного, — сказал Скрудж.

— Однако? — настаивал дух.

— Нет, — сказал Скрудж, — нет. Мне только хотелось бы иметь возможность сказать сейчас два слова своему конторщику. Вот и все.

При этих словах Скруджа его прежний я погасил лампы, и Скрудж очутился с духом снова на открытом воздухе.

— Мой срок истекает, — заметил дух. — Скорей!

Эти слова не были обращены ни к Скруджу, ни к кому-либо другому, кого бы он мог видеть, но они произвели непосредственное действие. Скрудж снова увидел себя. Теперь он был старше, человеком в лучшей поре жизни. Лицо его еще не носило резких и грубых черт позднейших лет, но обнаруживало уже признаки забот и скупости. В беспокойном движении

глаз сказывались инстинкты алчности и наживы; видно было, что эти страсти уже пустили корни в нем и вскоре обещали бросить на его взор тень быстро растущего от них дерева.

Он был не один, а сидел рядом с красивой девушкой, одетой в траур. В глазах ее виднелись слезы, а в них искрился свет, сиявший с головы духа прошедшего Рождества.

— Это не важно, — сказала она тихо. — Для тебя это безделица. Другой кумир заместил меня; и если он может послужить тебе; в будущем радостью и утешением, которые я старалась бы доставить тебе, то у меня нет повода печалиться.

— Какой кумир заменил тебя? — возразил он.

— Золотой кумир.

— Вот вам людское беспристрастие! — сказал он. — Ни к чему мир так строго не относится, как к бедности, и в то же время ничто так сурово не осуждает, как стремление к богатству!

— Ты слишком боишься света, — кротко ответила она. — Все твои надежды поглощены одного — избежать повода к его горьким упрекам. Я была свидетельницей того, как твои более благородные стремления пропадали одно за другим, уступая свое место одной господствующей страсти — наживы. Не так ли?

— Что же из этого? — возразил он. — Что из того, что я настолько поумнел? К, тебе я не переменялся.

Она покачала головою.

— Разве не так?

— Мы помолвлены давно. В то время мы оба были бедны и не скучали этим, в надежде, при лучших обстоятельствах, устроить наше внешнее счастье терпеливым трудом. Ты не тот теперь. Тогда ты был другим человеком.

— Я был мальчиком, — сказал он нетерпеливо.

— Твое собственное сердце говорит тебе, что ты не тот, что был, — возразила она. — Я не переменялась. То, что обещало нам счастье, когда у нас было одно сердце, превратилось в беду, когда наши стремления разошлись в разные стороны. Мне нечего говорить, как часто и как мучительно я об этом думала. Довольно того, что мною теперь все обдумано, и я могу освободить тебя.

— Разве я когда-нибудь искал разлуки?

— На словах — нет, никогда.

— Так в чем же ты это видишь?

— В перемене твоих наклонностей, твоего характера, в ином взгляде

на жизнь и преследовании в ней иной окончательной цели — во всем, что придавало моей любви какое-нибудь значение или цену в твоих глазах. Если бы ничего этого между нами не было, — продолжала она, глядя на него кротко, но решительно, — скажи мне, остановил ли бы ты теперь на мне свой выбор и старался ли бы приобрести мое расположение? Наверное, нет.

Он, по-видимому, невольно соглашался с справедливостью этого предположения, но, подавив в себе голос совести, ответил:

— Ты этого не думаешь.

— И бы рада была думать иначе, если бы могла, — возразила она. — Богу известно, что, убедившись в подобной истине, я не могла не видеть, насколько она неотразима. Но, будь ты свободен сегодня, завтра, могу ли я поверить, чтобы ты избрал девушку-бесприданницу — ты, который даже в интимной беседе с нею взвешиваешь все со стороны выгоды; даже допустив, что ты изменил на минуту своему руководящему правилу и женился бы на такой девушке, разве не знаю я, что ты непременно бы в этом раскаялся и сожалел бы о своем поступке? Слишком хорошо я это знаю и потому освобождаю тебя от данного тобою слова. Я делаю это от полного сердца, ради любви к тому, каким ты был когда-то.

Он было хотел заговорить, но она, отвернувшись от него, продолжала:

— Может быть — в чем воспоминание прошлого несколько обнадеживает меня — может быть, ты и поскорбишь об этом, но очень, очень не долго, и освободишься от этих воспоминаний с радостью, как от бесполезной мечты или сновидения, от которого приятно бывает проснуться. Итак, будь счастлив в своей новой жизни!

Она вышла, и они расстались.

— Дух! — воскликнул Скрудж, — будет с меня! Сведи меня домой. Что тебе за удовольствие терзать меня?

— Еще одно видение, — ответил дух.

— Не надо! Не хочу больше ничего видеть! — умолял Скрудж.

Но безжалостный дух схватил его обеими руками и принудил наблюдать, что будет дальше.

Но вот послышался стук в дверь, и вся шумная ватага опрометью бросилась к ней, увлекая с собою растрепанную, с измятым платьем, старшую сестру, и очутилась у входа как раз в то мгновение, когда в дверях показался отец в сопровождении человека, нагруженного рождественскими подарками. Радостным возгласам и конца не было. Плохо пришлось бедному носильщику, когда нетерпеливые дети начали подставлять к нему стулья, вместо лестницы, карабкаться на него самого, заглядывать к нему в

карманы, тащить его за воротник, обшаривать и теребить его со всех сторон, добывая завернутые в желтую бумагу сокровища. И каким взрывом восторга сопровождалось вскрытие каждого пакета! Вдруг страшная весть, что грудной ребенок засунул себе в рот кукольную сковороду, при чем, по всей вероятности, уже успел проглотить игрушечную индейку, изжаренную на деревянном противне! А потом всеобщее облегчение, когда тревога оказалась напрасной. Со всех сторон крики радости, благодарности, восторга! Трудно поддается описанию подобная сцена. Хорошо, что детей одного за другим увели спать наверх, где взволнованные голоса их постепенно смолкли.

Скрудж стал внимательнее прежнего наблюдать, когда хозяин дома, нежно обняв свою дочь, сел с нею и с ее матерью на свое обычное место у камина. Глаза Скруджа подернулись слезами при мысли, что подобное существо, такое же милое и столь много обещающее, могло бы называть его отцом и быть весеннею отрадой в суровую зимнюю пору его жизни.

— Бэлла! — сказал муж, обращаясь с улыбкой к жене, — я видел сегодня одного твоего старого друга.

— Кого же это?

— Угадай.

— Как могу я угадать? А впрочем, постой, — поспешила она прибавить, смеясь, как и он. — Мистера Скруджа?

— Верно. Я проходил мимо окон его конторы, и так как они не были закрыты, и внутри горела свеча, то я не мог удержаться, чтобы не взглянуть на него. Говорят, компаньон его при смерти, и вот он сидит теперь один. Ведь у него никого нет, я думаю.

— Дух! — взмолился опять Скрудж надломленным голосом, — уведи меня отсюда.

— Я сказал тебе, что это тени былых вещей, — сказал дух, — не моя вина, что они таковы.

— Уведи меня! — настаивал Скрудж. — Мне этого не вынести.

Обернувшись в сторону духа и видя, что тот смотрит на него лицом, в котором необъяснимым образом отражались отдельные черты всех показанных ему духом лиц, Скрудж старался высвободиться из его крепких рук.

— Отпусти меня! Сведи меня назад и покинь меня!

В этой борьбе — если это только может назваться борьбою, где дух без всякого видимого напряжения с своей стороны не поддавался никаким усилиям своего противника — Скрудж заметил, что свет его горит широко и ярко; смутно объясняя себе, что именно в этом свете заключается

сдерживающая его сила духа, он схватил шапку-гасильник и быстрым движением накрыл ею голову призрака.

Дух съежился под нею, так что гасильник покрыл его всего; но хотя Скрудж давил на него изо всей силы, он не мог совершенно загасить свет, который стремился из-под гасильника и целым потоком разливался до полу.

Он чувствовал, что силы оставляют его, и одолевает непреоборимая дремота, что, кроме того, он находится в своей спальне. Он еще раз надавил шапку, и рука его опустилась в изнеможении, так что едва успел он добраться до постели, как в то же мгновение крепко заснул.

### III. Второй из трех духов

Проснувшись среди сильнейшего храпа и сев в постели, чтобы собраться с мыслями, Скрудж не имел случая узнать, что колокол готов опять пробить час. Он, однако, чувствовал, что пришел в сознание как раз к тому времени, когда ему нужно было принять второго из числа трех посетителей, обещанных Яковом Марлеем. Но, ощутив неприятный холод при мысли о том, которую из занавесок постели раздвинет этот второй посетитель, он собственноручно отодвинул их со всех сторон и, улегшись снова, стал зорко наблюдать вокруг постели. Он хотел окликнуть духа в самый момент его появления, совсем не желая быть застигнутым врасплох и испытать нервное потрясение.

Есть люди, которые ни над чем не задумываются; они любят похвастаться, что их ничем не удивишь и не испугаешь, начиная с игры в орлянку до убийства человека. Нет сомнения, что между такими крайностями существует бесчисленное множество переходов. Я не берусь причислить Скруджа вполне к такого сорта людям и уверять вас, что он приготовился к очень многим разновидностям чудесных явлений, что ничто не могло особенно поразить его, начиная с младенца и кончая носорогом. Приготовившись почти ко всему, он никоим образом не думал, что не произойдет ничего особенного; потому, когда колокол пробил час, а никакого видения не появлялось, его начала пробирать сильная дрожь. Прошло пять минут, прошло десять минут, прошло четверть часа, а все никого не было. В течение всего этого времени он лежал в постели как раз в самом центре полосы красноватого света, упавшего на него в ту же минуту, как пробило час. Этот свет тревожил его гораздо больше, чем целая дюжина духов, так как он никак не мог понять, что бы это значило и откуда происходит. Ему даже приходило на мысль, не представляет ли он сам в эту минуту интересного случая внезапного самовозгорания. Напоследок, однако, он начал догадываться, что, по всей вероятности, источник этого света находился в соседней комнате, откуда, если проследить за ним, он, казалось, и выходил. Когда эта мысль вполне овладела его умом, он потихоньку встал и, шмыгая туфлями, подошел к двери.

В ту минуту, когда рука Скруджа схватилась за ручку двери, странный голос назвал его по имени, приглашая войти. Он повиновался.

Это несомненно была его собственная комната, только подвергшаяся удивительной перемене. Стены и потолок были так густо завешаны свежою

зеленью, что представляли собою настоящую аллею, испещренную повсюду ярко блестящими ягодами. Кудрявые листья остролистника, омелы и плюща отражали свет, подобно множеству маленьких зеркалец; в камине был разведен такой огонь, какого это каменное олицетворение домашнего очага никогда не видало ни в Скруджево, ни в Марлеево время. На полу, образуя нечто в роде трона, были нагромождены индейки, гуси, всякого рода дичь и живность, окорока, большие части мяса, связки зелени, пироги с коринкой, плум-пудинги, бочонки с устрицами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, сладкие груши, громадные паштеты и кипящие чаши с пуншем, который своим благовонным паром, как туманом, наполнял всю комнату. Наверху всей этой груды сидел в свободной позе веселый гигант, на которого любо было посмотреть; в его руке был яркий факел, своею формою напоминавший рог изобилия; гений держал его высоко над головой, освещая Скруджу дорогу.

— Взойди! — воскликнул дух. — Взойди и узнай меня поближе, человек!

Скрудж вошел робко и поникнул головою пред духом. Это не был прежний упрямый Скрудж, так что, хотя глаза гиганта светились ласкою и добротою, он не мог смотреть в них.

— Я дух настоящего праздника Рождества Христова, — сказал гигант. — Посмотри на меня!

Скрудж почтительно последовал этому приглашению. Гигант был одет в простой темно-зеленый плащ, или мантию, опушенную мехом. Эта одежда так свободно держалась на его фигуре, что открывала его могучую грудь, как бы не выносившую искусственной крыши. Ноги его, видневшиеся из-под широких складок мантии, были также голы, а на голове простой венок из остролистника, украшенный кое-где ледяными сосульками. Темно-каштановые волосы ниспадали на плечи длинными, вольными прядями; взор его был блестящ, лицо открыто, движения свободны. На поясе висели старые, покрытые ржавчиной, ножны, в которых меч, однако, не было.

— Ты никогда еще не видал подобных мне! — воскликнул дух.

— Никогда, — ответил Скрудж.

— Никогда не ходил с младшими членами моей семьи: я ведь очень молод, потому разумею моих старших братьев, родившихся в последние годы, — продолжал призрак.

— Кажется, нет, — сказал Скрудж. — Боюсь, что этого со мною не случилось. А много было у тебя братьев, дух?

— Больше тысячи восьмисот, — отвечал гигант.



— О, как дорого стоит содержать такую огромную семью! — молвил Скрудж.

При этих словах призрак поднялся с своего места.

— Дух! — произнес покорно Скрудж, — веди меня, куда хочешь. Вчера ночью я странствовал поневоле и вынес из этого путешествия урок, которого больше не забуду. Если и ты имеешь научить меня чему-нибудь, дай мне воспользоваться и, твоим уроком.

— Коснись моей одежды!

Скрудж крепко за нее ухватился.

Вдруг остролистник, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, свинина, ветчина, зелень, устрицы, пудинги, фрукты и пунш, — все мгновенно исчезло. Исчезла и комната с камином, и красноватый свет, и самый час ночи, и наши путники очутились на улицах города в рождественское утро. Со всех сторон слышалась своеобразная музыка скребков и заступов, которыми люди счищали снег и лед с тротуаров против своих жилищ и с крыш домов (холод стоял изрядный).

Детям любо было смотреть, как глыбы снега, падая сверху, разлетались в воздухе на множество блестящих снежинок. Стены домов и особенно впадины окон казались просто черными от яркой белизны снежного покрова, лежавшего на крышах. Зато снег, покрывавший землю, успел уже приобрести желтоватый оттенок; множество двигавшихся во всех направлениях экипажей и фур избороздило его местами оттаявшую поверхность глубокими колеями, казавшимися непроследимую цепью бесчисленных миниатюрных каналов. Небо было пасмурно, и взор не проникал до конца даже самых коротких улиц, завешенных полузамерзшим, полуоттаявшим туманом; более тяжелые части этого тумана спускались в виде дождя из закопченных воздушных атомов.

Можно было подумать, что все трубы Великобритании сговорились между собою и сразу задымили во всю свою мочь и волю. Несмотря, однако, на такую невеселую погоду, все кругом было в каком-то радостном настроении, как не бывает и в самый яркий солнечный день. Весело шла работа людей, сбрасывавших снег с крыш домов; как-то особенно были одушевлены их лица; шутливо перекликались они из-за парапетов, обмениваясь по временам снежком — металлическим снарядом, более невинным, чем многие словесные шутки — и от души смеясь, когда ком попадал в цель, и еще более радуясь, когда он пролетал мимо. Лавки торговцев живностью были открыты лишь наполовину, зато настежь стояли двери у фруктовщиков. Большие пузатые корзины с каштанами выставлялись из них подобно широким жилетам пожилых гуляк,

прислонившихся к дверям и выставивших на показ свою грозящую ударом тучность. Румяные, темнолицые испанские луковицы, своим дородством напоминавшие испанских монахов, лукаво поглядывали с полок на проходящих красавиц и с притворною скромностью скидывали в то же время глаза на подвешенный к потолку остролистник. Тут же красовались цветущие пирамиды из груш и яблок, а на самом виду спускались с потолка кисти винограда; благодущный хозяин нарочно подвесил их на таком месте — пускай, мол, у прохожих слюнки текут на здоровье. Груды крупных лесных орехов, пушистых, загорелых, напоминали своим особым ароматом осенние прогулки в лесу, когда нога приятно погружалась в мягкий слой засохшей листвы; норфольские печеные яблоки оттеняли темнотою своей сморщенной кожи яркую желтизну своих соседей, апельсинов и лимонов; аппетитно-сочные, так и просились они на послеобеденный десерт. Даже золотые и серебряные рыбки в вазах, расставленных между этими отборными плодами, и те, несмотря на свою холодную кровь, казалось, знали, что происходит нечто особенное; все они с любопытством сновали по своему водному миру и как-то необыкновенно, хотя и бесстрастно, волновались. Еще праздничнее смотрели колониальные магазины, если заглянуть чрез их полузакрытые окна. Весело звенели здесь беспрестанно опускавшиеся на прилавок чашки весов; порывисто шумя, разворачивалась со своей катушки бичева; ловко, точно рукою фокусника, пододвигались к ней все новые и новые плетенки, не успевавшие вмещать бесчисленные покупки. Смесь ароматов чая и кофе приятно раздражала обоняние. Разбегались глаза при виде редкой величины изюма, небывалой белизны миндалин, отборных палочек корицы и разных пряностей. Лакомо приготовленные цукаты были так обильно пропитаны сахаром, что могли довести до обморока самого хладнокровного зрителя, если он устоял против соблазна отведать тут же разложенных мясистых и сочных винных ягод и скромно глядевшего из своих украшенных ящиков французского чернослива. Нужно было видеть нетерпеливую, в ожидании праздника, суетливость покупателей: как угорелые, торопились они исполнить свои покупки, сталкивались друг с другом в дверях, зацепляясь корзинами; выбежав из лавки, многие снова возвращались в нее взять забытые второпях покупки, делали много других подобных ошибок, ни на минуту не теряя, однако, своего праздничного настроения. Сам торговец и его приказчики смотрели такими свежими и бодрыми молодцами, что ярко вычищенные медные сердечки, которыми застегивалась сзади их фартуки, можно было принять за их собственные сердца, выставленные на показ всем и каждому.

Но вот с колоколен раздался благовест, призывавший добрых людей в церкви, и на улицах появились толпы богомольцев в своих лучших нарядах и с самыми радостными лицами. В то же время из всех переулков, безымянных тупиков и закоулков потянулся бесчисленный люд, несший к пекарям свои обеды. Видно было, что дух интересовался этими любителями попить, так как, поместившись с Скруджем в дверях одной пекарни, он приподнимал крышку с их ноши и кропил на их обеды из своего факела. Это был какой-то необыкновенный факел. Когда раз, другой случилось, что носильщики обедов обменивались несколькими сердитыми словами, он проливал да них несколько капель из своего факела, и мгновенно возвращалось к людям их доброе расположение духа, «Стыдно ссориться в такой праздник», — тут же говорили они.

Вот замолкли колокола, и пекарни закрылись; но как будто все еще носился призрак этих обедов, и продолжение их стряпни виднелось на оттаявшем пятне сырости над каждой печью пекарни; даже мостовые перед ними дымились, будто кипели самые камни.

— Нет ли какой-нибудь особой силы в той влаге, которою ты кропишь из своего факела? — спросил Скрудж.

— Как же. Это моя собственная сила.

— И на всякий сегодняшний обед оказывает она свое действие? — спросил Скрудж.

— На всякий, если он предлагается от доброго сердца, а в особенности на обед бедняка.

— Почему же в особенности на обед бедняка?

— Потому что он больше в ней нуждается.

Они, по-прежнему оставаясь невидимыми, направились далее в предместье города. Чудесный спутник Скруджа отличался удивительной способностью (которую Скрудж заметил еще, когда они были с ним у пекарей) приспособляться, несмотря на свой гигантский рост, ко всякому месту: под низкой крышей он помещался так же непринужденно и свободно, как и в высокой зале.

Может быть, он повиновался побуждению своей доброй, великодушной природы и своему расположению ко всем бедным людям, направившись прямо к конторщику Скруджа. Он в самом деле пошел туда, а с ним и Скрудж, держась за его платье. Перед входом дух, улыбаясь, остановился, чтобы окропить из своего факела жилище Боба Крэтчита. Подумайте только! Боб получал всего пятнадцать шиллингов в неделю, а дух настоящего Рождества благословлял его скромное помещение!

Вот поднялась с своего места мистрисс Крэтчит, жена Крэтчита,

одетая бедно в дважды вывороченное платье, зато в уборе из лент; не дорого они стоят и для шести пенсов очень приличны. При помощи Белинды Крэтчит, своей второй дочери, тоже в ленточном уборе, она стала накрывать на стол, тогда как молодой Петр Крэтчит, запустив вилку в кастрюлю, наблюдал, как варился картофель; чувствуя, что концы необъятных воротничков его манишки (личная собственность отца, уступленная сыну и наследнику в честь великого праздника) попадали ему в рот, он гордился своим изысканным нарядом и предвкушал удовольствие показать свое белье в фэшенебельном парке. Вот двое младших Крэтчитов, мальчик и девочка, ворвались в комнату, крича, что у пекаря пронюхали гуся и признали его за своего; увлекшись заманчивой мечтой о соусе из шалфея с луком, дети принялись плясать вокруг стола, превознося до небес своего старшего брата, который (без гордости, хотя воротнички буквально душили его) раздувал огонь, пока, наконец, ленивые картофелины не застучали громко в крышку кастрюли, прося выпустить их наружу и облупить.

— Однако, куда же это пропал твой отец, — сказала мистрисс Крэтчит, — и брат твой Тимоша? да и Марта в прошлое Рождество пришла получасом раньше!

— А вот вам, матушка, и Марта! — послышался голос девушки, показавшейся в эту минуту в дверях.

— Мама, вот Марта! — закричали оба маленькие Крэтчиты. — Ура! какой у нас гусь, Марта!

— Что это, милая моя, как ты поздно! — сказала мистрисс Крэтчит, осыпая свою дочь поцелуями и в то же время спеша снимать с нее шаль и шляпку.

— Нужно было много работы окончить, — отвечала девушка, — а нынче утром пришлось убираться.

— Ну, ничего, хотя поздно, да пришла! — сказала мать. — Садись-ка к огню, моя милая, да погрейся!

— Нет, нет! Вон папа идет! — закричали маленькие, всюду поспевавшие Крэтчиты. — Спрячься, Марта, спрячься!

Марта спряталась, и в комнату вошел отец Боб, с шеи которого, по крайней мере, на три фута свешивался развязавшийся и болтавшийся перед ним шарф; его поношенное платье было тщательно заштопано и вычищено по такому торжественному случаю; на плечах он держал сына Тимошу. Увы, бедняжка был калека и носил костыль!

— А где же Марта? — спросил Боб Крэтчит, озираясь по сторонам.

— Не пришла, — ответила мать.

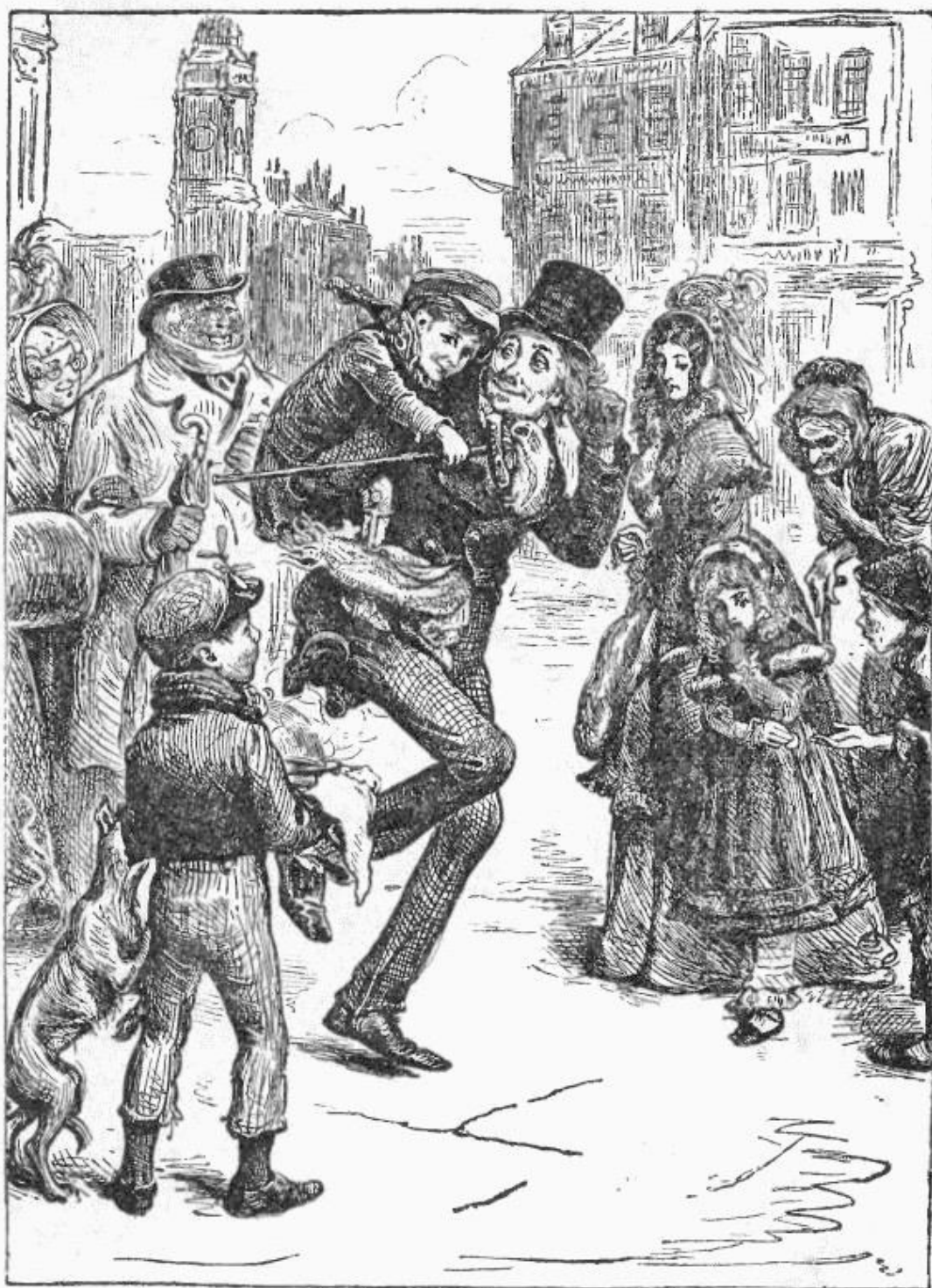
— Не пришла? — переспросил Боб, и голос его сразу упал; а он еще во весь дух бежал домой, изображая лошадь для Тимоши, и вдруг «не пришла» в такой праздник.

Марта, не желая дольше расстраивать отца, хотя бы и в шутку, вышла из-за дверцы шкафа и бросилась в его объятия; двое же маленьких Крэтчитов подхватили Тимошу и унесли его в прачечную послушать, как там в котле кипит пудинг.

— Ну, как вел себя Тимоша? — спросила мистрисс Крэтчит, посмеявшись над доверчивостью Боба, когда тот вдоволь нацеловался с дочерью.

— Как золото, да еще лучше, — отвечал отец. — Сидя один, он, должно быть, все размышляет про себя и подчас додумывается до удивительнейших вещей. Когда мы шли домой, он сказал мне, что, вероятно, люди видели его в церкви, так как он был калека, и им, должно быть, приятно было в праздник Рождества Христова вспомнить о Том, Кто исцелял хромых и давал зрение слепым.

Голос Боба задрожал при этих словах и задрожал еще более, когда он сказал, что Тимоша стал крепче и бодрее.



...а онъ еще во весь духъ бѣжалъ домой, изображая лошадь для Тимоши.

Стр. 82.

В это время послышался слабый стук костыля по полу, и Тимоша вернулся в сопровождении сестры и брата, которые усадили его на его обычный стул рядом с камином. Пока Боб, засучив манжеты — бедняга полагал, что они могут еще более загрязниться — составлял в кружке смесь из лимонов и джина и, старательно растерев, поставил ее погреть на полку камина, молодой Крэтчит вместе с двумя вездесущими маленькими Крэтчитами отправился добывать гуся, с которым они скоро и вернулись в торжественной процессии.

Тут произошел такой шум, что можно было подумать, будто гусь самая редкостная птица в мире, некий феномен в перьях, перед которым черный лебедь очень обыкновенная птица. Да в этом доме почти так и было на самом деле. Мистрисс Крэтчит спешила разогреть раньше приготовленную подливку; Петр с невероятною силою разминал картофель; мисс Белинда подслащивала яблочный соус; Марта вытирала горячие тарелки. Отец посадил Тимошу рядом с собою в уголке у стола; двое младших Крэтчитов поставили для всех стулья, не забывая и себя, и, поместившись дозорными на своих постах, засунули в рот свои ложки из боязни вскрикнуть от нетерпения прежде, чем дойдет до них очередь. Наконец, блюда были поданы и прочитана молитва. Наступила мертвая тишина, когда мистрисс Крэтчит, лукаво поглядев на лезвие ножа, приготовилась погрузить его в грудь гуся; но лишь только она надрезала птицу, и из нее хлынула начинка, как по всему столу пронесся шёпот восторга, и даже маленький Тимоша, увлеченный своими братишкой и сестрицей, ударил по столу ручкой своего ножа и слабым голосом прокричал ура.

Никогда еще не бывало подобного гуся. Боб даже выразил сомнение, чтобы когда-нибудь подавался такой гусь. Его нежность и сочность, его размеры и дешевизна были предметом всеобщего удивления. С прибавкою яблочного соуса и мятого картофеля его вполне хватило на обед всему семейству, так что мистрисс Крэтчит, увидав на одной из тарелок крошечную косточку, заметила, что и того-то не могли доесть. Все были сыты, в особенности младшие Крэтчиты, вымазавшиеся начинкой до самых бровей. Затем, когда мисс Белинда переменила тарелки, мистрисс Крэтчит вышла из комнаты, чтобы выпрокинуть пудинг и принести его; она пошла одна: при ее нервном возбуждении свидетели были бы для нее невыносимы.

А ну как он не дошел как следует! Что если он развалится, когда его станут опрокидывать! Ну, а ежели случился такой грех, что кто-нибудь перелез через стену с заднего двора да украл его, пока они тут пировали

над гусем. При одной мысли об этом кровь застывала у молодых Крэтчитов. Каких только ужасов они себе не воображали.

Ага! Вот поднялся пар столбом, значит, пудинг вынут из кастрюли. Пошел запах точно от пареного белья! Это от салфетки. Наконец, запахло как в трактире! Это уже сам пудинг. Через полминуты показалась и мистрисс Крэтчит: раскрасневшаяся, но с горделивой улыбкой и — с пудингом, как пестрая бомба, твердым и крепким, усеянным бледными огоньками горящего спирта, и с веткой остролистника, воткнутой в верхушку в виде рождественской эмблемы.

О, как превосходен был пудинг! Боб Крэтчит потихоньку высказал, что, на его взгляд, это был самый крупный успех, достигнутый мистрисс Крэтчит со времени их свадьбы. Мистрисс Крэтчит призналась, что теперь у нее гора с плеч свалилась, а то она очень побаивалась, достаточно ли было муки. Каждый что-нибудь высказывал по этому поводу, но никто не сказал и не подумал, что пудинг был мал для большой семьи. Это было бы грубой ересью. Любой из членов семьи покраснел бы даже от намека в этом смысле.

Наконец, обед кончился; скатерть убрали со стола, подмели очаг и оправили огонь. Когда смесь в кружке была испробована и найдена превосходною, на стол были поданы яблоки и апельсины, а на огонь брошен полный совок каштанов. Тогда вся семья разместилась кружком перед камином; рядом с отцом поставили стеклянный семейный сервиз: два больших стакана и объемистую чашку без ручки.

В этой посуде перелитый из кружки горячий напиток помещался так же удобно, как бы и в золотых бокалах; Боб с довольным видом разливал его, пока каштаны с треском поджаривались на огне.

Затем Боб поднял стакан и произнес:

— Поздравляю вас всех, мои милые, с радостным праздником Рождества Христова. Да хранит нас Бог!

Вся семья дружно ответила на это приветствие.

— Да благословит Бог каждого из нас! — крикнул Тимоша последним.

Он сидел совсем рядом с отцом на своем маленьком стуле. Боб взял его маленькую худую ручку в свою, как бы боясь лишиться своего дорогого ребенка.

— Дух! — сказал Скрудж с участием, которого никогда еще не ощущал до сих пор. — Скажи мне, останется ли жив Тимоша?

— Я вижу незанятый стул в том бедном уголке, — отвечал дух, — и костыль без хозяина, бережно хранимый семьей. Если эти тени не будут изменены будущим — ребенок умрет.



— Нет, нет! — сказал Скрудж. — О, нет, добрый дух! скажи, что он будет жив.

— Если эти тени не изменятся будущим, ни один из моих сородичей не найдет его здесь, — возразил дух. — Да и что тебе в том? Если ему нужно умереть, тем лучше, меньше будет лишних людей.

Скрудж понурил голову, услышав повторенные духом свои собственные слова, и им овладело чувство раскаяния и печали.

— Человек! — произнес дух, — если у тебя в груди человеческое сердце, а не алмаз, воздержись от неуместных слов, пока не узнаешь, что лишнее и где оно. Тебе ли решать, которому человеку жить, которому умирать? Ведь, может быть, в глазах Неба ты гораздо недостойнее и негоднее для жизни, чем миллионы детей этих бедняков. О, Боже! ничтожный червь, взобравшийся на травку, не считает за оставшимися внизу своими голодными братьями одинаковых с собою прав на жизнь!

Скрудж преклонился перед укоризной духа и, дрожа всем телом, опустил глаза в землю. Но быстро поднял голову, услышав свое имя.

— Предлагаю вам теперь выпить за здоровье мистера Скруджа, виновника нашего пира, — произнес Боб.

— Хорош виновник пира! — воскликнула мистрисс Крэтчит, краснея. — Жаль, что его здесь нет: я бы дала ему себя знать, в другой раз не захотел бы.

— Э, полно, моя милая, — заметил Боб: — при детях-то, да и в такой праздник.

— Хорош праздник, — продолжала она, — когда предлагают пить за здоровье такого отвратительного скряги, жестокого, бесчувственного человека, как мистер Скрудж. Точно ты сам этого не знаешь, Роберт! Тебе, бедняге, это лучше всех известно.

— Ведь нынче Рождество Христово, — ответил Боб.

— Хорошо, я готова выпить за его здоровье, но только не ради его самого, а ради тебя и ради великого праздника. Многия ему лета! С праздником его и наступающим Новым годом! — то-то, думаю я, будет он счастлив и весел.

За нею тост повторили дети. Это было их первым действием, где сердце их не участвовало. Тимоша выпил последним и еще равнодушнее прочих, ибо Скрудж был в глазах этой семьи каким-то людоедом, чудовищем. Упоминание его имени бросило черную тень на все маленькое общество, и эта тень минут пять не могла рассеяться.

Когда, наконец, она исчезла, веселое настроение их удесятирилось. Боб Крэтчит сообщил им тогда, что у него имелось в виду место для Петра,

которое, если удастся получить его, будет приносить целых пять с половиною шиллингов в неделю. Оба младшие Крэтчита разразились неудержимым смехом, представляя себе, Петр будет деловым человеком; сам же Петр глубокомысленно смотрел из-за своих воротничков на огонь, как будто рассуждая про себя, какое он предпочтет себе сделать платье, когда будет обладать таким несметным доходом. Марта, бывшая в учении у модистки, рассказала им потом, какая у нее была работа и как по случаю праздника намеревалась завтра выспаться; как несколько дней тому назад она видела графиню и лорда, и как этот лорд был почти так же высок ростом, как Петр. Последний при этих словах еще дальше выправил свои воротнички, так что из-за них едва видно было его самого. А между тем каштаны и кружка ходили взад и вперед по рукам. Немного спустя Тимоша запел песенку при покинутого ребенка, как он шел зимою по снежной дороге; хотя и слабый, жалкий голосок был у малютки, а спел он очень не дурно.

Ничего выдающегося семья эта не представляла. Лицом они все были некрасивы, одеты и обуты плохо, и Петру не в диковинку было заглядывать в лавку закладчика; тем не менее они были счастливы, довольны друг другом и праздником. Когда пришло время духу и Скруджу покинуть это жилище, и образ семьи стал бледнеть, Скрудж до последней минуты не спускал глаз с этих людей и особенно с Тимоши.

Между тем стало темнеть, и пошел густой снег. Когда Скрудж и дух шли вдоль улиц, взорам их представлялось отовсюду светившееся яркое пламя печей и каминов. Здесь, видимо, готовились к обеду, там кучка детей выбегала из дома навстречу своей замужней сестры, своих братьев, дядюшек, тетюшек. Там опять на опущенных сторах виднелись силуэты уже собравшихся гостей, а здесь группа хорошеньких барышен, в меховых шубках и теплых сапожках, быстро направлялась к соседнему дому, тараторя все сразу и не слушая друг друга.

При виде такого множества людей, идущих в гости, вы бы пришли в недоумение, кто же в таком случае оставался дома принимать всех этих посетителей и растапливать в ожидании их свои камины.

О, как торжествовал спутник Скруджа при виде всего этого! Как широко раскрывалась его могучая грудь, как свободно протягивалась его сильная рука, распространяя искреннее и невинное веселье повсюду вокруг себя. Даже фонарщик, видимо торопившийся в гости, так как был одет по-праздничному и бегом спешил от фонаря к фонарю поскорее разбросать по темным улицам убогие пятнышки света — и тот громко рассмеялся, поправившись с духом.

Вдруг, ни словом не предупредив Скруджа, дух перенес его на пустынную, болотистую местность, где нагромождены были высокие кучи необделанного камня, представляя собою какое-то кладбище великанов. Кругом, между замерзших луж воды, виднелись только мох да вереск, да клочья какой-то грубой, жесткой травы.

Заходящее солнце оставило на небосклоне огненно-красную полосу, которая резко, как бы мигнув, осветила на минуту эту дикую пустыню, а затем, все хмурясь и хмурясь, исчезла в глубоком мраке ночи.

— Что это за место? — спросил Скрудж.

— Здесь живут рудокопы, которые трудятся в недрах земли, — отвечал дух. — Но и они меня знают. Вот, смотри!

Из окна какой-то хижины показался огонек, и они быстро двинулись туда. Пройдя сквозь сложенную из камней и грязи стену, они увидели веселое общество, собравшееся вокруг яркого огня, — старый-престарый мужчина и такая же женщина, их дети, внуки и правнуки, все разряженные по-праздничному. Старик голосом, едва заглушавшим вой гулявшего за стенами хижины ветра, пел им рождественскую песню; это была очень старинная песня, которую он певал еще мальчиком; от времени до времени ему подпевали хором остальные, и каждый раз, как те возвышали голоса, громче и веселее начинал петь и старик; как только замолкали они, и его голос раздавался слабее.

Дух не стал медлить здесь, но, велев Скруджу ухватиться за свое платье, понесся с ним над болотом, но — куда?

Не к морю ли? Да, к морю. Оглянувшись назад, Скрудж к ужасу своему увидел, что берег, в виде страшных утесистых громад, уже позади их; уже оглушает его рев волнующегося моря, которое клокочет и беснуется, будто хочет подмыть самые основы суши.

На уединенной, полупогруженной в воду, скале, в расстоянии около мили от берега, стоял одинокий маяк. Целые кучи водорослей облепляли его основание, а буревестники — такие же сыны ветра, как водоросли дети волн — взлетали и опускались вокруг него, подобно волнам, над которыми они носились.

Но даже и здесь двое сторожей развели огонь, бросавший сквозь узкое окошко тонкий луч света на темное море. Дружески протянув через стол свои мозолистые руки, державшие по стакану грога, они поздравляли друг друга с праздником; и один из них, который был постарше, с загрубелым от бурь и непогод, как галлион старого корабля, лицом, затаил громкую, что сама буря, песню.

Снова понесся дух над черным бушующим морем, стремясь все

дальше и дальше, пока, очутившись вдали от всякого берега, они не опустились на корабль. Они становились и рядом с рулевым за колесом, и позади часового, и подле офицеров, державших вахту; — подобно темным призракам стояли эти люди каждый на своем посту, но каждый из них или напевал про себя какую-нибудь рождественскую песенку, или думал какую-либо рождественскую думу, или шёпотом говорил своему товарищу об одном из прошлых праздников и соединенных с ним надеждах или воспоминаниях о родине. И у всякого из бывших на корабле, спящего ли, или бодрствующего, и хорошего и дурного — у всех находилось в такой день более доброе чем обыкновенно слово, и все так или иначе, больше или меньше, отличали торжественное значение этого дня; вспоминали тех, о ком и в далекой разлуке они заботились, зная, что и те в свою очередь вспоминают о них.

Велико было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к вою ветра и размышляя о том, как страшно должно быть плыть во тьме над неизведанной пучиной, таящей в себе глубокие, как сама смерть, тайны — когда, занятый такими мыслями, он вдруг услышал веселый смех. Но Скрудж еще более удивился, узнав, что это был смех его племянника, что сам он очутился в сухой, ярко освещенной комнате, и что рядом с ним стоял улыбающийся дух, одобрительно-ласково смотревший на племянника Скруджа.

— Ха, ха! — смеялся племянник Скруджа. — Ха, ха, ха!

Если вам по какому-нибудь невероятному случаю пришлось познакомиться с человеком, который бы смеялся увлекательнее Скруджева племянника, могу вас только об одном просить — познакомить меня с ним, и я буду весьма рад этому знакомству.

Благодетелен и вполне справедлив тот порядок вещей, по которому, при заразительности болезней и печали, на свете нет ничего заразительнее смеха и веселого расположения духа. Когда племянник Скруджа смеялся так, что держался за бока, раскачиваясь головою и выделявая лицом всевозможные гримасы, племянница Скруджа по мужу хохотала так же искренно, как и он, а вслед за ними хохотала и вся их дружеская компания.

— Ха, ха! Ха, ха, ха, ха!

— Ну, право же он сказал, что Рождество, это пустяки! Да он и впрямь так думает! — кричал Скруджев племянник.

— Тем больше ему должно быть стыдно, Фридрих! — с негодованием сказала племянница.

Женщины ничего не делают наполовину. Они со всему относятся серьезно.

Она была очень, очень красива. Наивное, как бы удивленное личико, пара самых лучезарных глаз, которые вам когда-либо встречались, маленький розовый ротик, как-будто созданный для поцелуев, что, впрочем, несомненно и было; несколько пленительных ямочек вокруг подбородка придавали ей особенную прелесть, когда она смеялась.

— Что он чудак, — сказал племянник, — так это верно, и не так приветлив, бы мог быть, но несправедливость его сама себя наказывает, и я ничего против него не имею.

— Он, конечно, очень богат, Фридрих, — заметила племянница. — По крайней мере ты мне так рассказываешь.

— Что нам до этого, милая! — сказал племянник. — Да и ему нет пользы от его богатства. Никакого добра он из него не делает и на себя ничего не тратит. Разве, чего доброго, утешается мыслью — ха, ха, ха! — что когда-нибудь нас наградит им.

— Нет, не терплю я его, — заметила племянница.

То же мнение высказали ее сестры и все остальные дамы и барышни.

— А я так жалею его, — сказал племянник. — Если бы и захотел, и то, кажется, не рассердился бы на него. Кто терпит от его странностей? — Всегда он сам. Представилось ему теперь, что он нас не любит, и вот он не хочет придти к нам обедать. А что из этого? Не велика для него потеря.

— Напротив, мне кажется, что он лишает себя очень хорошего обеда, — перебила мужа племянница.

То же сказал каждый из гостей, а они могли быть компетентными судьями, так как только что встали из-за обеда, и теперь, расположившись вокруг камина, занимались десертом.

— Очень рад это слышать, — сказал племянник Скруджа, — потому что не очень-то доверяю этим молодым хозяйкам. Как ваше мнение, Топпер?

Топпер, очевидно, имел в виду одну из сестер Скруджевой племянницы, так как отвечал, что холостяк — это жалкий отбросок, который не имеет права высказываться об этом предмете. При этом одна из сестриц покраснела — не та, у которой были розы в голове, а другая, толстушка, что в кружевной косынке.

— Продолжай дальше, Фридрих, — сказала Скруджева племянница, ударяя в ладоши. — Он всегда так: начнет говорить, и не кончит.

Племянник Скруджа снова закатился смехом, и так как невозможно было им не заразиться, хотя сестрица толстушка и пыталась воспротивиться этому при помощи ароматического уксуса, то все единодушно последовали примеру хозяина.

— Я только хотел сказать, — заговорил он, — что вследствие его нелюбви к нам и нежелания повеселиться с нами, он, думаю, теряет несколько приятных минут, которые бы не принесли ему вреда. Я уверен, что он лишается более приятных собеседников, чем каких может найти в своих собственных мыслях, в своей затхлой конторе или в своих пыльных комнатах. Я намерен каждый год доставлять ему такой же случай, будет ли это ему нравиться или нет, потому что мне жаль его. Пускай его будет всю жизнь свою смеяться над Рождеством; но, наконец, станет же он лучше о нем думать, если я из года в год весело буду являться к нему и говорить: как ваше здоровье, дядюшка Скруджа? Если этим я добьюсь хотя того, что он оставит пятьдесят фунтов своему бедному конторщику, и то хорошо; и мне кажется, что я вчера тронул его.

Теперь уж за ними была очередь рассмеяться, когда он сказал, что растрогал Скруджа. Но, по доброте своего сердца, он не смущался этим смехом — только бы смеялись. Чтобы подогреть веселость гостей, он еще начал их потчевать вином.

Напившись чаю, все занялись музыкой. Это была музыкальная семья и, что касается пения, они были мастера своего дела, в чем могу вас уверить, а в особенности Топпер, который басил преисправно, нисколько притом не надуваясь и не краснея в лице. Племянница Скруджа не дурно играла на арфе; между прочим она сыграла маленькую, очень простую по мотиву, песенку, которую хорошо знал ребенок, приезжавший когда-то в школу за Скруджем. Когда раздались звуки этой песенки, все, что этот дух показал Скруджу, пришло ему теперь на память; он становился все мягче и мягче и думал, что если бы прислушивался к ней почаще в течение долгих лет, то мог бы достигнуть радостей в своей жизни своими собственными руками, не прибегая к заступу могильщика, похоронившего Якова Марлея.

Но не весь вечер был посвящен ими музыке. Немного спустя они стали играть в фанты. Хорошо иногда быть детьми, особенно в праздники Рождества. Сначала, впрочем, затеялась игра в жмурки — это уж само собою разумеется. И я столько же верю в действительную слепоту Топпера, сколько в то, что глаза у него были в сапогах. Я полагаю, что все дело было заранее решено между ним и племянником Скруджа, и что духу настоящего Рождества это было известно. Тот способ, каким Топпер ловил толстую сестрицу в кружевной косынке, был прямой насмешкой над человеческой доверчивостью. Роняя то ту, то другую вещь, прыгая через стулья, натываясь на рояль, запутываясь в драпировках, он неизменно устремлялся вслед за нею. Он всегда знал, где была толстая сестрица, и никого другого не хотел ловить. Когда некоторые нарочно поддавались ему, он делал вид,

как будто хочет схватить вас, чему бы вы, конечно, не поверили, и вдруг бросался от вас в сторону толстой сестрицы. Она не раз кричала, что это нехорошо, неправильно, — конечно так. Но когда он, наконец, поймал ее, когда, несмотря на все ее уловки и хитрости, он загнал ее в угол, из которого уже нельзя было спастись, — тогда поведение его стало окончательно невозможным. Под предлогом сомнения, она ли это, он уверял, что ему необходимо дотронуться до ее головного убора, а для окончательного удостоверения ее личности он будто бы принужден обследовать одно колечко на ее пальце и ее шейную цепочку. Не правда ли, разве не чудовищно так вести себя? По этому предмету она, вероятно, и высказывала ему свое мнение, когда водить пришлось другому, а они вели какую-то таинственную беседу за занавеской. Племянница Скруджа не принимала участия в жмурках, ее усадили на кресло в уютном уголке, так что Скрудж с духом очутились рядом с нею. Зато она участвовала в фантах, а потом и в игре «как, когда и где», при чем, к тайному удовольствию мужа, совсем забила своих сестер, хотя и те были очень острые барышни, как Топпер мог бы сообщить вам. Общество состояло человек из двадцати, и все они, и старые, и молодые, играли. Играл и Скрудж; вполне участвуя во всем происходившем перед ним, он совсем забыл, что они не могли слышать его голоса, а потому иногда совершенно громко произносил свой ответ на предложенный вопрос и очень часто отвечал удачно.

Дух был очень доволен, видя его в таком настроении, и так одобрительно смотрел на него, что он как мальчик стал просить его остаться здесь, пока гости не разъедутся. Но дух сказал, что этого нельзя сделать.

— Вот новая игра, — упрашивал Скрудж. — Только полчасика, дух; ну, пожалуйста!

Это была игра под названием «да и нет», в которой племянник Скруджа должен был что-нибудь задумать, а остальные должны были отгадывать; он только отвечал «да» или «нет» на их вопросы. А они градом сыпались на него: он думает о животном, о гадком животном, о диком животном, которое ворчит и хрюкает, а иногда разговаривает, и живет в Лондоне, и ходит по улицам, и за деньги не показывается, и никем не водится, не живет в зверинце, не убивается для продажи, и ни лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе, с которым обращались к нему, племянник раздражался новым раскатом смеха; наконец, его довели до того, что он принужден был вскочить с дивана и затопать ногами. Тут толстая сестрица, придя в такое же состояние неудержимой веселости, прокричала:

— Я отгадала! Я знаю, кто это! Знаю, знаю!

— Ну, кто? — спросил Фридрих.

— Ваш дядя Скру-у-дж.

Она действительно отгадала. Последовало всеобщее удивление, хотя некоторые и говорили, что на вопрос: «не медведь ли?» — следовало сказать — «да», так как отрицательного ответа было достаточно, чтобы отвлечь их мысли от Скруджа, как бы близко они к нему ни были.

— Право, он доставил нам много удовольствия, — сказал Фридрих, — и было бы неблагодарностью не выпить за его здоровье. Вот кстати и стакан с глинтвейном. За здоровье дядюшки Скруджа!

— Хорошо! За здоровье дяди Скруджа! — было ему ответом.

— Каков бы он ни был, желаю старику веселых праздников и счастливого Нового года! — произнес племянник. — Он не принял бы от меня этого приветствия, но Бог с ним. Итак за здоровье дяди Скруджа!

Дядя Скрудж незаметно так развеселился, ему стало так легко и приятно на сердце, что он готов был ответить тостом не подозревавшему его присутствия обществу и поблагодарить неслышную для него речью, если бы дух дал ему время. Но вся сцена исчезла в одно мгновение при последнем слове племянника; и Скрудж и дух снова очутились в пути.

Много мест обошли они, многое видели и, в какой дом ни заходили, всюду приносили счастье. Дух становился у постелей больных, и они утешались и делались веселы; являлся к живущим на чужбине, и к ним придвигалась родина; посещал удрученных жизненной борьбою, и к ним возвращались терпение и надежда — бедных, и они забывали, что они бедны. В богадельнях, в больницах, в тюрьмах, во всех приютах нищеты, куда суетный человек, в силу своей ничтожной, быстропреходящей власти, не преграждал путь духу, повсюду он оставлял благословение и наставлял Скруджа в своих правилах.

Это была длинная ночь, если это была только одна ночь. Но Скрудж сомневался в этом, так как все рождественские праздники представлялись сжатыми в пространстве времени, которое они провели вместе с духом. Другая странность заключалась в том, что, тогда как Скрудж оставался неизменившимся в своей наружности, дух видимо становился все старше и старше. Скрудж раньше заметил в нем эту перемену, но ничего не говорил об этом до того времени, когда они, покинув одну детскую вечеринку, очутились на открытом месте. Здесь Скрудж заметил, что у духа волосы поседели.

— Разве так коротка жизнь духов? — спросил он.

— Моя жизнь на земном шаре очень коротка, — ответил дух. —



Сегодня ночью ей конец.

— Сегодня ночью! — воскликнул Скрудж.

— Да, сегодня в полночь! Чу! время близко.

В эту минуту на башне пробило три четверти двенадцатого.

— Прости меня, если я не имею права об этом спрашивать, — сказал Скрудж, пристально смотря на платье духа, — но я вижу, что что-то странное, не принадлежащее тебе, выглядывает из-под твоей полы. Что это — нога или лапа с когтями?

— По тому, сколько на ней мяса, ее, пожалуй, вернее назвать лапою с когтями, — был грустный ответ духа. — Смотри сюда.

Из-под широких складок его одежды вышло двое детей, жалких, отвратительных, ужасных, несчастных. Они опустились на колена у его ног и ухватились за край его одежды.

— Смотри, смотри сюда, человек, смотри! — воскликнул дух.

Это были мальчик и девочка. Желтые, худые, оборванные, с диким, как у волка, взглядом, но в то же время покорные.

Там, где благодатная юность должна была бы округлить черты и придать им самые свежие свои краски, жесткая, морщинистая, как у старика, рука, казалось, ощипала, скрутила и изорвала их в лоскутья. Где бы царить ангелам — оттуда угрожающе, дико выглядывали дьяволы. Ни на какой степени изменения, упадка, или извращения человечества, среди всех тайн непостижимого творения, нет и наполовину столь страшных чудовищ.

Скрудж в ужасе отшатнулся назад. Считая их, должно быть, за детей духа, он было хотел сказать, что это прелестные дети, но слова замерли у него на языке, отказываясь быть участниками такой колоссальной лжи.

— Дух, твои они? — только и мог он произнести.

— Это человеческие дети, — сказал дух, глядя на них. — Они хватаются за меня с жалобой на своих отцов. Этот мальчик Невежество. Эта девочка Нужда. Берегись их обоих, но больше всего остерегайся этого мальчика, ибо на лбу его я читаю приговор Судьбы, если только написанное не будет изглажено. Не признавайте его! — воскликнул дух, простирая руку по направлению к городу. — Злословьте тех, кто говорит вам об этом! Допускайте его ради ваших партийных целей и усугубляйте зло! И ждите конца!

— Разве у них нет опоры, нет приюта? — спросил Скрудж.

— А разве нет тюрем? — сказал дух, обращаясь к нему с последним своим словом. — Разве нет рабочих домов?

Колокол пробил полночь.

Скрудж стал искать глазами духа, но его не было видно. Как только замер последний звук колокола, он вспомнил предсказание Марлея и, подняв глаза, увидел окутанный с головы до ног таинственный призрак, который, как туман по земле, медленно к нему приближался.

## IV. Последний из духов

Призрак подвигался тихо, торжественно, молча. Когда он приблизился, Скрудж упал на колена, потому что в самой атмосфере, чрез которую подвигался этот дух, он, казалось, распространял таинственный мрак.

Он был закутан в широкую черную одежду, скрывавшую его голову, лицо и стан, оставляя на виду одну только протянутую вперед руку. Не будь этого, трудно было бы отличить его фигуру от ночи и выделить ее из окружавшего ее мрака.

Очутившись рядом с ним, Скрудж чувствовал только, что он высок и строен и что его таинственное присутствие наполняло его неизъяснимым ужасом. Дальше он ничего не знал, так как призрак не говорил и не двигался.

— Передо мною дух будущих Рождественских праздников? — произнес Скрудж.

Дух не отвечал, но указал рукою на землю.

— Ты хочешь показать мне тени вещей еще не бывших, но имеющих совершиться в будущем? — продолжал Скрудж. — Не так ли?

Верхняя часть одежды собралась на мгновение в складки, как будто дух наклонил голову вместо ответа.

Хотя и попривыкнув за это время к обществу духов, Скрудж так сильно боялся этого молчаливого образа, что ноги дрожали под ним, и ему казалось, что он едва может стоять. Дух оставался пока неподвижным, как бы наблюдая за Скруджем и давая ему время придти в себя.

Но Скруджу от этого было еще хуже. Необъяснимый ужас охватил его при мысли, что за таинственным покровом скрывались глаза, пристально устремленные на него, тогда как он, как ни напрягал своего зрения, мог видеть только протянутую вперед руку и большую черную массу.

— Дух будущего! — воскликнул он, — я боюсь тебя больше, чем любого из виденных мною духов. Но зная, что цель твоя сделать мне добро, и так как я надеюсь жить, чтобы стать другим, лучшим человеком, нежели я был, то я готов оставаться в твоём обществе и делаю это с чувством благодарности. Ты не будешь говорить со мною?

Ответа не последовало, только рука указывала вперед.

— Веди! — сказал Скрудж. — Веди! Ночь быстро исчезает, а это драгоценное для меня время. Я знаю. Веди, дух!

Призрак стал двигаться так же, как приближался. Скрудж следовал за

ним в тени его одежды, которая, как он думал, несла его.

Казалось, не они входили в город, а город как бы сам вырастал вокруг них. Но вот они в самом центре его, на бирже, среди купцов; некоторые из них торопливо переходили с места на место, другие разговаривали группами, посматривая на свои часы и глубокомысленно играя своими большими золотыми цепочками. Одним словом, перед глазами наших путников повторялась картина, к которой так привык Скрудж, часто посещавший биржу.

Дух остановился подле одной кучки деловых людей. Увидав, что рука указывала на них, Скрудж подошел послушать их разговор.

— Нет, — сказал один из них, высокий, толстый господин с огромным подбородком, — подробностей я не знаю, а только слышал, что он умер.

— Когда он умер? — любопытствовал другой.

— Вчера в ночь, кажется.

— Как? что это с ним случилось? — спросил третий, доставая крупную щепоть табаку из своей громадной табакерки. — Я так думал, что ему и века не будет.

— А Бог его знает, — сказал первый зевая.

— Что он сделал с своими деньгами? — спросил краснолицый господин с таким огромным наростом на конце носа, что он болтался у него, как у индюка.

— Не слыхал, — ответил человек с широким подбородком, снова зевая. — Может быть, компаньону своему оставил. Мне он не отказал их — вот все, что я знаю.

Эта шутка встречена была общим смехом.

— То-то дешевые будут похороны, — сказал тот же собеседник, — хоть убей меня — не знаю никого, кто бы пошел на них. Вот разве нам собраться, так, по доброй воле?

— Пожалуй, я пойду, если будет завтрак, — заметил джентльмен с наростом на носу. — Кто хочет меня видеть, должен кормить меня.

Опять смех.

— Так я, пожалуй, бескорыстнее всех вас, — сказал первый собеседник, — потому что никогда не ношу черных перчаток и никогда не завтракаю. Но я готов отправиться, если еще кто-нибудь пойдет. Ведь если подумать, то вряд ли придется отрицать, что я был ближайшим его другом: при всякой встрече мы, бывало, с ним останавливались и разговаривали. Прощайте, господа!

Говорившие и слушавшие разошлись и скоро смешались с толпою. Скрудж знал этих людей и посмотрел на духа, как бы ожидая от него

объяснения.

Призрак перенесся на улицу. Здесь палец его указал на двух встретившихся людей. Скрудж стал опять прислушиваться, думая, что найдет здесь объяснение.

Он знал очень хорошо и этих людей. Это были деловые люди, очень богатые и важные. Он всегда старался быть у них на хорошем счету, конечно с деловой и именно с деловой точки зрения.

— Как вы поживаете? — сказал один.

— А вы как? — спрашивал другой.

— Хорошо! — сказал первый. — Старый скряга-то умер, — слышали вы?

— Говорят, — ответил другой. — А ведь холодно, не правда ли?

— Как и должно быть о Рождестве. Вы, нужно полагать, на коньках не катаетесь?

— Э, нет. И без того есть о чем подумать. До свидания.

Вот и все. Встретились, поговорили и расстались.

Скрудж сначала удивлялся, что дух придает значение таким, видимому, пустым разговорам; но чувствуя, что в них кроется какая-нибудь тайная цель, он стал размышлять: чтоб именно это могло быть? Вряд ли можно было предположить, что они имеют какое-нибудь отношение к смерти Марлея, его старого компаньона, потому что то было прошедшее, а это был дух будущего. Одинаково он не мог отнести их к кому-либо из людей, непосредственно близких ему. Не сомневаясь, однако, что к кому бы они ни относились, в них заключается какая-нибудь скрытая мораль в целях его собственного исправления, он решился принимать к сердцу всякое слышанное им слово и все, что увидит, в особенности внимательно наблюдать свою собственную тень, когда она будет являться. Он ожидал, что поведение его будущего и даст ему ключ к разрешению этих загадок.

Он тут же начал искать глазами свой собственный образ; но на его обычном месте стоял другой, и хотя по времени это был всегдашний час пребывания его на бирже, он не видел сходства с собою ни в одном из множества людей, спешивших войти в двери биржевого зала. Впрочем, он не особенно дивился этому, так как мысленно уже изменил свою жизнь, а потому думал и надеялся, что видит уже осуществившимися свои недавние решения.

Неподвижным и мрачным стоял подле него призрак с своею вытянутою рукою. Очнувшись от занимавших его мысли вопросов, Скрудж, по изменившемуся положению руки призрака, представил себе, что невидимый взор упорно остановился на нем. Это заставило его

содрогнуться, и сильный холод пробежал по его телу.

Они покинули эту оживленную сцену и направились в другую часть города, где Скруджу не приходилось бывать раньше, хотя ему известно было, где она находится и какой дурной славой пользуется. Грязные и узкие улицы; жалкие дома и лавчонки; полуголоое, пьяное и дикое население. Бесчисленные переулки и закоулки, подобно множеству сточных ям, извергали на улицы отвратительное зловоние, грязь и людей; от всего квартала несло пороком, скверной и нищетой.

В одном из отдаленнейших уголков этого логовища позора скрывалась под покатою кровлей низенькая лавчонка, где продавалось железо, старые лохмотья, бутылки, кости и всякие сальные, грязные отброски. Внутри ее, на полу, лежали кучи ржавых ключей, гвоздей, цепей, крючков, петель, весов, гирь и тому подобного железного лома. Тайны, на разгадку которых немного нашлось бы охотников, зарождались и погребались здесь в горах неприглядного тряпья, кучах протухлого сала и старых костей.

Посреди этих товаров, около печки, сложенной из старых кирпичей, сидел седовласый семидесятилетний плут-хозяин, который, загородив себя от наружного холода растянутой на веревке занавеской из засаленного тряпья, сосал свою трубку, наслаждаясь тихим уединением.

Скрудж и призрак очутились в присутствии этого человека в ту самую минуту, когда в лавку проскользнула женщина с тяжелым узлом в руках. Вслед за нею вошла другая женщина с подобной же ношей, а за ней мужчина в полинявшей черной одежде, который не менее был испуган при виде женщин, чем они сами, когда узнали друг друга. После нескольких минут безмолвного изумления, которое разделял и сам хозяин лавочки, они все трое разразились смехом.

— Приди сперва поденщица одна! — сказала женщина, вошедшая сначала. — Потом бы прачка одна, а третьим бы гробовщик, тоже один. А то вот какой случай, дедушка Осип! Ведь нужно же было нам здесь всем вместе столкнуться!

— Да где же вам и сойтись, как не здесь, — отвечал старик, отнимая ото рта трубку. — Пойдемте в приемную, ты там уже давно свой человек; да и те обе тоже не чужие. Дайте только запереть наружную дверь. Ишь ты как скрипит. Пожалуй что ржавее этих петель ничего здесь не найдется, и костей старше моих тут не сыщешь. Ха, ха! Мы все подходящий народ для нашего дела. Ступайте, ступайте в приемную.

Приемной называлось пространство за занавеской из лохмотьев. Старик сгреб уголья в печке старым прутом от шторы и, поправив свой смрадный ночник (была уже ночь) чубуком своей трубки, засунул ее снова

в рот.

Тем временем женщина, явившаяся первою, бросила свой узел на пол и с важностью уселась на стул, облокотившись на колена и нахально-недоверчиво посматривая на остальных двоих.

— Ну, что же? зачем дело стало, мистрисс Дильберс? — сказала она. — Всякий имеет право о себе заботиться. Он сам всегда так поступал!

— И то правда! — сказала прачка. — На этот счет ему пары не было.

— Так что ж вы глаза-то вытаращили, точно испугались друг друга? Ну, кто умней? Ведь не обобрать один другого мы пришли сюда.

— Нет, зачем же! — сказали Дильберс и мужчина в один голос. — Совсем не для того, полагать надо!

— И отлично! — воскликнула женщина. — Больше ничего и не требуется. Кому тут убыток, что мы прихватили подобную безделицу. Ведь не мертвецу же это нужно.

— Конечно, нет! — сказала Дильберс со смехом.

— Если старый скряга хотел, чтобы эти вещи остались целы после его смерти, — продолжала женщина, — так что ж он жил не как люди? Живи он по-людски, было бы кому и присмотреть за ним, когда смерть-то его настигла; не лежал бы так, как теперь — один-одинешенек.

— Вернее этого и сказать нельзя, — подтвердила Дильберс. — Поделом ему.

— Не мешало бы этому узлу быть потяжеле, — ответила женщина, — да и был бы он тяжеле, будьте покойны, только вот руки-то не дошли до другого. Развяжи-ка его, узел-то, дедушка Осип, да скажи, что он стоит. Говори на чистоту. Я не боюсь быть первой, и не боюсь, что они увидят. Мы ведь отлично знали, что помогали друг другу, прежде чем здесь встретились. Осип, развязывай узел.

Но учтивость ее друзей не допустила этого, и мужчина в полинялом черном платье, вскочив на брешь первым, выложил свою добычу. Не велика она была. Одна-две печати, коробка для карандашей, пара пуговиц от рукавов, дешевая брошь, — вот и все. Старик стал их рассматривать и ценить, при чем сумму, которую готов был дать за каждую из вещей, писал мелом на стене; наконец, переписав все вещи, подвел итог.

— Вот твой счет, — сказал старик, — и что хочешь со мной делай, а я шести пенсов к нему не прибавлю. Чья теперь очередь?

Очередь была за Дильберс. Тем же порядком была записана оценка принесенных ею вещей: простынь и полотенец, нескольких штук носильного белья, двух старинных чайных ложек, пары сахарных щипчиков и нескольких сапогов.

— Я всегда слишком много плачу дамам. Такова уж моя слабость, этим и разоряю себя, — сказал старик. — Вот что вам приходится. Если бы вы хоть пенс попросили прибавить, мне пришлось бы раскаяться в своей щедрости и прямо скостить полкроны.

— Ну, дедушка, теперь мой узел развязывай, — сказала первая женщина.

Старик стал на колена, чтобы удобнее было развязывать. Наконец, с трудом распутав узел, он вытащил широкий и тяжелый сверток какой-то темной материй.

— Это что такое по-вашему? — спросил он. — Занавес от постели!

— А-то что ж! Занавес и есть, — ответила женщина, смеясь и подаваясь вперед со своего стула.

— Так-таки вы его и стащили, целиком, с кольцами и совсем, когда он лежал под ним! — удивился Осип.

— Да, так и стащила. А что же?

— Вы рождены для того, чтобы составить себе состояние, — заметил старик, — и вы этого достигнете.

— Понятное дело, я не положу охулки на руку, когда что попадет под нее, особенно ради такого человека, каким он был, — равнодушно отвечала женщина. — Можете быть спокойны на этот счет. Смотрите, масло-то на одеяло прольете.

— Это его одеяло? — спросил старик.

— А чье же еще по-вашему? Думаю, что он и без него теперь не простудится.

— Надеюсь, он не от заразы какойнибудь помер? А? — спросил старик, оставив свое занятие и посмотрев на нее.

— Этого не бойтесь, — отвечала женщина. — Я не настолько дорожу его обществом, чтобы оставаться около него для такого дела, если бы он от заразы помер. Хотя до боли глаз смотрите сквозь ту сорочку, ни одной дырочки, ни одного протертого местечка не найдете в ней. Это его лучшая сорочка была, да она и вправду отличная. Они бы истратили ее даром, если бы не я.





...„Это что такое по-вашему?“ спросил онъ. „Занавѣсъ отъ постели!“

— Как так истратили бы ее? — спросил старик.

— Схоронили бы его в ней, — отвечала женщина, смеясь. — Какой-то дурак так было и сделал; только я опять сняла ее. Если для этой цели коленкор не годится, так я не знаю, на что он после того годен. Самая подходящая материя для покойника. В ней он не смотрит страшнее, чем в той.

Скрудж с ужасом прислушивался к этому разговору. Видя их сидящими над своей добычей, при слабом свете ночника, он смотрел на них с неменьшим отвращением, как если бы это были безобразные демоны, торговавшие из-за самого трупа его.

— Ха, ха! — раздался смех женщины, когда старик, вытащив из кармана фланелевый мешок с деньгами, стал каждому отсчитывать его выручку. — Вот вам и конец всему! Пока жив был, отпугивал от себя всякого; зато как помер, мы от него и попользовались! Ха, ха, ха!

— Дух! — сказал Скрудж, трясаясь всем телом, — я вижу, вижу. Случай с этим несчастным человеком мог бы повториться со мною самим. Моя

настоящая жизнь ведет к тому. Милосердый Боже, что это такое!

Он отскочил в ужасе, так как сцена изменилась, и он теперь почти касался кровати — кровати голой, без занавесок, на которой под худой, изорванной простыней лежало что-то прикрытое, которое, хотя и было немо, говорило о себе ужасным языком.

В комнате было очень темно, так темно, что разглядеть ее хорошенько нельзя было, хотя Скрудж, повинуясь тайному побуждению, осмотрелся кругом, чтобы узнать, что это была за комната. Бледный свет, пробивавшийся снаружи, падал прямо на кровать; а на ней, ограбленное, покинутое, беспризорное, неоплаканное, лежало тело человека.

Скрудж взглянул в сторону призрака. Его рука неподвижно указывала на голову трупа. Покрывка была накинута так небрежно, что стоило бы Скруджу слегка дотронуться до нее пальцем, и лицо бы раскрылось. Он подумал об этом, чувствовал, как легко бы ему было это сделать, и ему сильно хотелось этого, но у него одинаково не хватало сил сдвинуть покрывало, как и освободить себя от присутствия призрака.

О, холодная, холодная, суровая, страшная смерть! воздвигай здесь алтарь свой, одевай его ужасами, какие есть в твоей власти, ибо это твое царство! Но ты не можешь, для своих страшных целей, тронуть ни одного волоса, не смеешь исказить ни одной черты на лице любимого, почитаемого и уважаемого человека. Пусть тяжела рука, пусть падает она, когда ее не держат; пусть не бьется сердце и не слышен пульс; зато эта рука была открыта, благородна и верна; сердце было честно, горячо и нежно. Поражай, тень, поражай! И смотри, как из нанесенной тобою раны изливаются добрые дела, чтобы засеять в мире жизнь бессмертную!

Не голосом были произнесены эти слова на ухо Скруджа, тем не менее он слышал их. когда смотрел на постель. Он думал, что если бы можно было поднять теперь этого человека, то какие были бы его первые мысли! Скупость, кулачество, жадность к наживе? К доброму концу привели они его, в самом деле!

Одиноким лежал покойник в унылом, пустом доме; около него ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, которые бы могли сказать, что вот он в том или в другом был добр ко мне, и, памятуя хоть одно доброе слово, я заплачу ему добром же. Какая-то одичалая кошка царапалась у двери, да слышалось, как под камином возились мыши. Чего им нужно было в этой комнате смерти, и отчего обнаруживали они такое беспокойство, о том Скрудж не смел и помыслить.

— Дух! — сказал он, — это страшное место. Покидая его, я не забуду его урока, поверь мне. Уйдем отсюда!

Но призрак продолжал неподвижною рукою указывать ему на голову.  
— Понимаю тебя, — произнес Скрудж, — и я бы сделал это, если бы мог. Но у меня нет силы, дух. У меня нет силы.

Призрак как будто снова поглядел на него.

— Если есть в городе хотя кто-нибудь, кто принимает к сердцу смерть этого человека. — продолжал Скрудж в страшной тоске, — то покажи мне его, умоляю тебя, дух!

Призрак на мгновение распустил свое темное одеяние на подобие крыла; затем, сложив его, открыл взорам Скруджа освещенную дневным светом комнату, в которой находилась мать с своими детьми.

Она кого-то ждала и ждала с большим нетерпением, потому что быстро ходила взад и вперед по комнате, выглядывала из окна, смотрела на часы, старалась, хотя и напрасно, приниматься за свое шитье и едва могла переносить голоса резвившихся детей.

Наконец, послышался давно ожидаемый стук в дверь. Она бросилась к ней, и встретила своего мужа; лицо его, хотя еще и молодое, носило печать забот и уныния. Теперь на нем заметно было какое-то странное выражение довольства, которого он стыдился и которое, видимо, старался побороть в себе.

Он сел за приготовленный для него обед, и когда она, после долгого молчания, робко спросила его, что нового, он, казалось, затруднялся ответом.

— Хорошие или дурные вести? — спросила она, чтобы как-нибудь помочь ему.

— Дурные, — был ответ.

— Мы разорены окончательно?

— Нет. Еще есть надежда, Каролина.

— Если он смягчится, — сказала она с изумлением, — то конечно, есть! Можно надеяться на все, если случится подобное чудо.

— Ему уже нельзя смягчиться. Он умер.

Она была кротким и терпеливым существом, если верить ее лицу; но в душе она рада была такому известию, что и высказала, всплеснув при этом руками. В следующую же минуту она просила у Бога прощения и очень жалела о своей радости, хотя первое ощущение ее шло от сердца.

— То, что та полупьяная женщина, о которой я вчера вечером говорил тебе, передавала мне, когда я пытался повидаться с ним, чтобы выпросить недельную отсрочку, и что я считал простым предлогом не принять меня — оказывается вполне верным. Он не только был очень болен, но умирал тогда.

— С кому же перейдет теперь наш долг?

— Не знаю. Но к тому времени деньги у нас будут готовы; да если бы даже и не так, то было бы уже положительным несчастьем, если бы преемник его оказался таким же безжалостным кредитором. Эту ночь мы можем спать спокойно, Каролина!

Да. Как ни старались они ослабить свое чувство, тем не менее это было чувство облегчения. Лица детей, потихоньку столпившихся кругом, чтобы прислушаться к столь мало понятному для них разговору, просветлели, и вообще весь дом стал счастливее вследствие смерти этого человека. Единственное, вызванное этим событием, ощущение, которое дух мог показать ему, было ощущением удовольствия.

— Покажи мне какое-нибудь проявление чувства сожаления по поводу чьей-либо смерти, — сказал Скрудж, — иначе та мрачная комната, которую мы только что покинули, будет у меня всегда перед глазами.

Призрак провел его по нескольким столь знакомым ему улицам; по пути Скрудж смотрел направо и налево, ища себя, но его нигде не было видно. Они вошли в дом Боба Крэтчита, в тот самый, где он был уже раньше, и застали мать и детей сидящими вокруг огня.

В комнате было тихо. Шумливые младшие Крэтчиты неподвижно, как вкопанные, сидели в углу, смотря на Петра, державшего перед собою книгу. Мать с дочерьми заняты были шитьем и тоже молчали.

— «И Он взял младенца, и поставил его среди их».

Где слышал Скрудж эти слова? Не во сне же он их слышал. Вероятно, мальчик прочел их, когда они с духом переступали порог. Но что же он не продолжает?

Мать положила на стол свою работу и поднесла руку к лицу.

— Мне свет режет глаза, — сказала она.

— Свет? Ах, бедный Тимоша!

— Ну, теперь опять ничего, — сказала мать. — От свечки устают у меня глаза, а мне ни за что на свете не хотелось бы показывать вашему отцу, когда он вернется домой, что они у меня плохи. Пора бы ему придти, кажется.

— Да, уже прошло его время, — отвечал Петр, закрывая книгу. — Но мне кажется, матушка, что последние несколько дней он тише ходит, чем обыкновенно.

Все снова замолкли. Наконец, мать нарушила молчание, произнеся твердым, веселым голосом, при чем он только раз дрогнул:

— Знаю я, как он ходил, как шибко ходил, неся, бывало, на плечах Тимошу.

— И я знаю! — воскликнул Петр. — Часто видал.

— И я тоже! — повторили все.

— Но его очень легко было носить, — продолжала она, углубившись в свою работу, — и отец так любил его, что и за труд не считал. А вот и он, ваш отец!

Она поспешно встала ему навстречу, и Боб вошел, окутанный своим шарфом (бедняге он куда как был нужен). Чай для него стоял уже готовым на полке камина, и всякий старался, как мог, услужить ему. Затем двое младших Крэтчитов забрались к нему на колена и каждый из них, прильнув щечкой к его лицу, как будто говорил: ничего, папа, не горюй!

Боб был очень весел с ними и ласково беседовал со всей семьей. Посмотрев лежавшую на столе работу и похвалив прилежание и спорость жены и дочерей, он высказал уверенность, что они управятся задолго до воскресенья.

— До воскресенья! Так ты ходил туда сегодня, Роберт? — сказала жена.

— Да, моя милая, — отвечал Боб. — Хочется, чтобы и вы могли сходить туда. Вам бы приятно было увидеть, как зелено это местечко. Впрочем, вы часто будете видеть его. Я обещал ему приходить туда по воскресеньям. О, мой малютка! Мой маленький малютка! — воскликнул Боб.

Так он, наконец, не выдержал. Не по силам ему это было. А если б было по силам, он и ребенок его были бы, может быть, гораздо дальше друг от друга, чем теперь.

Он оставил семью и поднялся по лестнице в верхнюю комнату, которая была ярко освещена и украшена по-праздничному. В ней рядом с гробом малютки стоял стул и вообще видно было, что кто-нибудь незадолго приходил сюда. Бедный Боб сел на стул и задумался; просидев так несколько времени, он, по-видимому, успокоился, поцеловал маленькое личико как бы в знак примирения с совершившимся событием и сошел вниз вполне спокойный.

Они уселись вокруг огня и стали разговаривать; девицы и мать продолжали работу. Боб рассказал им о редкой доброте племянника Скруджа, которого он видел только раз.

— Несмотря на то, он, встретив меня сегодня на улице и заметив, что я немножко — ну, так немножко не в духе, спросил у меня, что случилось, что меня так расстроило. Когда я ему объяснил в чем дело, — продолжал Боб, — ведь это самый любезный человек, какого я только знаю — он тут же сказал: «Мне искренно жаль вас и вашу добрую супругу!» Но только как

уже он узнал про *это*, право, не знаю.

— Про что узнал, мой милый?

— Да про то, что ты хорошая жена, — отвечал Боб.

— Кто же этого не знает! — заметил Петр.

— Отлично сказано, сынок мой! — похвалил Боб. — Надеюсь, что так. «Искренно жаль, говорит, вашу добрую супругу. Если могу хотя чем-нибудь вам быть полезным, сказал он, давая мне свою карточку, вот где я живу. Пожалуйста приходите ко мне». И знаете, — продолжал Боб, — не потому, чтобы он мог оказать нам какую-нибудь помощь, а главное его добрая, радушная манера решительно очаровала меня. Право, казалось, будто он знал нашего Тимошу и чувствовал вместе с нами.

— Добрая, должно быть, душа у него! — сказала мистрисс Крэтчит.

— Ты бы в этом еще более убедилась, моя милая, — возразил Боб, — если бы увидала его и поговорила с ним. Я бы несколько не удивился, — заметить, что я говорю — если бы он доставил Пете лучшее место.

— Слышишь, Петя? — сказала мистрисс Крэтчит.

— А потом, — сказала одна из сестер, — Петя вступит в кому-нибудь в компанию и откроет свое дело.

— Подите вы! — отозвался Петр, приятно улыбаясь.

— Еще бы, — сказал Боб, — когда-нибудь и это будет, хотя для того еще не мало времени впереди, мои милые. Но как бы и когда бы нам ни пришлось разлучаться друг с другом, я уверен, что никто из нас не позабудет бедного Тимошу — не так ли? — или эту первую среди нас разлуку.

— Никогда, папа! — ответили все.

— И я знаю, — сказал Боб, — я знаю, мои милые, что если мы будем помнить, как он был терпелив и кроток, хотя он был и маленький, маленький ребенок — нам трудно будет ссориться друг с другом и тем доказывать, что мы забыли о бедном Тимоше.

— Нет, папа, никогда! — снова ответили все.

— Я очень счастлив, — сказал маленький Боб, — очень счастлив.

Мистрисс Крэтчит поцеловала его, то же сделали дочери и двое меньших детей, а Петр крепко пожал отцу руку. Душа крошки Тима, от Бога было твое детское существо.

— Призрак! — сказал Скрудж, — что-то говорит мне, что минута нашей разлуки близка. Скажи мне, кто это, кого мы видели мертвым?

Дух грядущего Рождества повел его, как и прежде, местами, где сходятся деловые люди, но не показывал ему его самого. Призрак, нигде не останавливаясь, шел все дальше, как бы стремясь к желанной Скруджем

цели, пока последний, наконец, не обратился к нему с мольбою остановиться на минуту.

— Этот двор, — сказал Скрудж, — через который мы теперь несемся, и есть место, где я занимаюсь уже давно. Я вижу дом. Дай мне посмотреть, что будет со мною со временем.

Дух остановился, но рука его указывала в другом направлении.

— Вот где дом! — воскликнул Скрудж. — Почему ты не туда указываешь?

Но указательный палец призрака не менял направления.

Скрудж поспешил к окну своей квартиры и заглянул туда. Это была все еще контора, но не его. Мебель была не та, и фигура, сидевшая в кресле, тоже не его. Так как призрак не менял своего положения, то Скрудж снова присоединился к нему и, не понимая куда и зачем они шли, сопровождал его, пока они не пришли к каким-то железным воротам. Прежде чем войти в них, он остановился, чтобы осмотреться вокруг.

Кладбище. Так вот где погребен тот человек, имя которого он должен был сейчас узнать. Достойное это было место: окруженное со всех сторон домами, поросшее сорными травами, где не жизнь, а смерть питала и растила их, где земля разжирела от слишком обильной пищи. Достойное место!

Призрак остановился среди могил и указал на одну из них. С трепетом направился к ней Скрудж. Дух был все таким же, но ужас подсказывал Скруджу, что какое-то новое значение было в его торжественной позе.

— Прежде чем я подойду к камню, на который ты мне указываешь, — сказал он, — ответь мне на один вопрос: тени ли это вещей, которые будут, или только того, что может быть?

Призрак продолжал указывать на могилу, у которой стоял.

— Образ жизни людей предзнаменует тот или другой конец, к которому он должен привести их, — произнес Скрудж. — Но если в нем произойдет перемена, то и конец будет иной. Скажи, не такой ли смысл имеет и то, что ты мне показываешь?

Дух был неподвижен, как всегда.

Скрудж, продолжая трястись от страха, подполз к могиле и, следя за пальцем духа, прочел на камне свое собственное имя:

**ЭБЕНИЗЕР СКРУДЖ.**

— Так это и тот человек, что лежал там на постели? — вскрикнул он, не подымаясь с колен.

Палец указал с могилы на него и обратно.

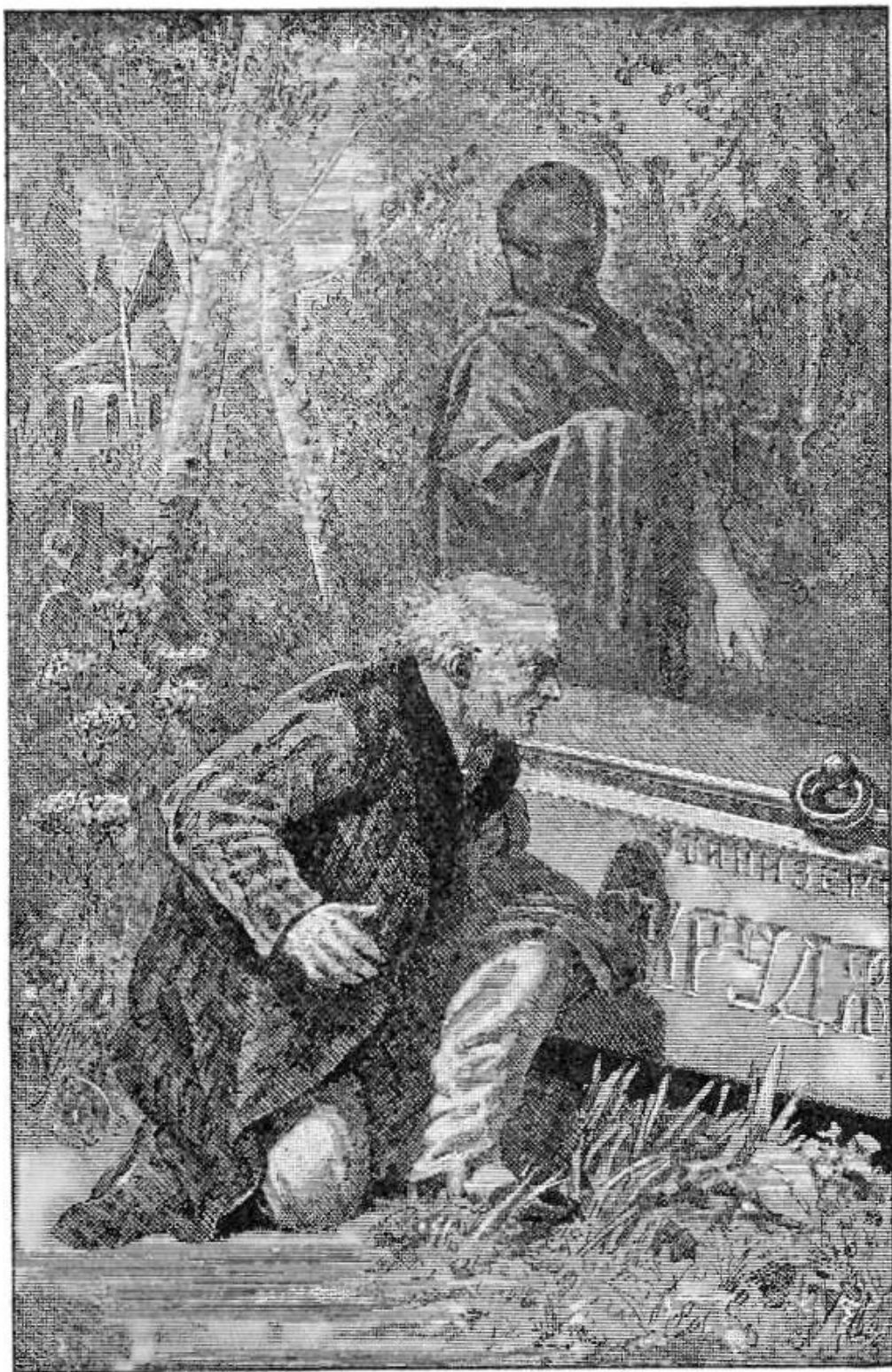
— Нет, дух! О, нет, нет!

Палец не опускался.

— Дух! — воскликнул он, крепко хватаясь за его одежду, — выслушай меня! Я не тот, что был. Я не буду тем, чем бы я должен был стать, не получив этого урока. Зачем мне это показывать, если для меня нет никакой надежды?

В первый раз, казалось, дрогнула рука призрака.





...Скрудъ, продолжая трястись отъ страха, подползъ къ могилѣ и, слѣдя за пальцемъ духа, прочелъ на камнѣ свое собственное имя: ЭБЕНИЗЕРЪ  
СКРУДЪ...

Стр. 132.

— Добрый дух! — продолжал Скрудж, все еще оставаясь перед ним на коленях. — Само твое сердце меня жалеет и просит за меня. Дай мне уверенность, что я еще могу изменить эти, показанные мне тобою, тени, переменяя свою жизнь!

Добрая рука снова дрогнула.

— Я буду чтить Рождество от всего сердца и постараюсь круглый год блюсти его. Буду жить в прошедшем, настоящем и будущем. Духи всех трех будут бороться во мне за первенство. Я не забуду данных мне ими уроков. О, скажи мне, что я могу стереть надпись на этом камне!

В своей отчаянной душевной борьбе он схватил руку призрака. Тот старался высвободить ее, но державшая ее рука не уступала. Однако, дух оказался сильнее и оттолкнул его.

Подняв кверху руки в последней мольбе, он заметил в призраке перемену. Он стал сжиматься, опадать и — превратился в столбик кровати.

## V. Конец

Да! И кровать его собственная и комната его собственная. А всего лучше и дороже, что время для исправления было у него впереди.

— Буду жить в прошедшем, настоящем и будущем, — повторял Скрудж, слезая с кровати. — Духи всех трех будут бороться во мне за первенство. О, Яков Марлей! Небу, Рождеству и тебе я обязан этим! Говорю это, стоя на коленях, старый Яков, — на коленях!

Он был так взволнован, так охвачен своими порывами к добру, что голос его едва повиновался ему. Он сильно рыдал во время борьбы с духом, и лицо его было мокро от слез.

— они не сдернуты! — воскликнул Скрудж, сжимая в руках одну из занавесок своей кровати, — они не сняты, они здесь, и кольца и все здесь! Я здесь, тени вещей, которые могли бы быть, могут быть рассеяны. Так и будет. Я знаю, они рассеются!

Все это время руки его работали над платьем: он спешил одеться, а они его не слушались; что ни схватит — шиворот навыворот, за что ни возьмется — все перевертывается на изнанку или вверх ногами; то найдет вещь, то опять ее потеряет.

— Что ж я буду делать! — воскликнул он, смеясь и плача в одно и то же время и представляя из себя настоящего Лаокоона, только обвитого чулками вместо змей. — Я легок, как перышко, счастлив, как ангел, весел, как школьник, и голова точно с похмелья. Поздравляю всякого с радостным праздником! Всему свету желаю счастья на Новый год. Гей! Ура! Ура!

Он выскочил в соседнюю комнату и остановился, едва переводя дух.

— Вот она кастрюля, где была каша! — закричал он, снова придя в движение и суется около камина. — Вот дверь, в которую вошел дух Якова Марлея. Вот угол, где сидел дух настоящего Рождества! А вот окно, из которого я видел странствующие души! Все так, все верно, все это было. Ха, ха, ха!

Отличный был это смех, настоящий, знаменитый смех для человека, который столько лет прожил без всякого смеха. Этот хохот предвещал длинный, длинный ряд блестящих повторений!

— Не знаю, какое сегодня число, какой день месяца! Не знаю, долго ли я был с призраками. Ничего, ничего не знаю. Совсем как ребенок. Да что за важность, лучше буду ребенком. Гей! Ура, ура!

Его восторги были прерваны звоном колоколов, звучавших как никогда

прежде. Динь, динь, дон. Динь-дирин-динь, дон, дон дон! О, чудесно, чудесно!

Подбежав к окну, он отворил его и выглянул. Тумана как не бывало; яркий, веселый, морозный день. Блестящее солнце, прозрачное небо! О, чудо, о, восторг!

— Какой день сегодня? — закричал Скрудж, окликая шедшего внизу мальчика в праздничном платье.

— Что? — отозвался тот в полном недоумении.

— Какой нынче день, мальчуга? — повторил Скрудж.

— Нынче? Да нынче Рождество Христово.

— А, Рождество! — сказал Скрудж самому себе. — Значит, я не пропустил его. Духи все в одну ночь обработали. Все, что хотят, то и делают. Конечно, они это могут. Конечно. Эй, мальчик?

— Что вам? — отозвался тот.

— Знаешь ты мясную лавку, что на углу второй отсюда улицы? — осведомился Скрудж.

— Как не знать!

— Умный мальчик! — сказал Скрудж. — Замечательный мальчик! А не знаешь ли ты, продали они ту знаменитую индюшку, что была у них вывешена? Не маленькую, а ту, толстую?

— А это что с меня-то будет? — отвечал мальчик.

— Ну что за прелесть этот мальчик! — сказал Скрудж. — Просто удовольствие говорить с ним. Она самая, молодчик.

— Она и сейчас там висит.

— Правда? Поди-ка, купи ее.

— Э, полно вам шутить!

— Кроме шуток. Серьезно говорю. Поди, купи ее да вели сюда принести; я скажу, куда ее отправить. Сам тоже приходи с посланным, я дам тебе шиллинг. А если вернешься с ним сюда раньше, чем пройдет пять минут, то подарю тебе полкроны!

Мальчик пустился бежать из всей мочи.

— Пошлю ее Бобу Крэтчиту, — шептал Скрудж, потирая руки и посмеиваясь, — он не узнает, кто ее послал. Она как раз вдвое больше Тимоши. Вот штука-то будет.

Нетвердою рукою написал он адрес, но все-таки написал, и сошел вниз к наружной двери встретить посланного из лавки. Стоя там в ожидании, он взглянул на колотушку.

— Всю жизнь буду любить ее! — воскликнул Скрудж, схватив ее рукою. — Вряд ли когда прежде я обращал на нее внимание. Какой у нее

приятный вид! Замечательная колотушка! А, вот и индюшка. Ура! Как поживаете? С праздником вас.

И что это была за индюшка! Наверное, на ногах не могла стоять от жира, когда жива была.

— А что, ведь ее пожалуй не донести до Кэмден Тауна, — сказал Скрудж. — Нужно взять вам извозчика.

Радостный смех, с которым он сказал это, смех, с которым он заплатил за индюшку, а потом за извозчика, и с которым наградил мальчика, уступал разве только тому смеху, с которым он, едва переводя дух, уселся опять в свое кресло и здесь все продолжал смеяться, пока, наконец, не заплакал от радости!

Не легкое дело было теперь обриться, потому что руки у него тряслись сильнейшим образом; а бритье требует осторожности даже в спокойном состоянии. Но если бы даже он отрезал себе кончик носа, то наложил бы только кусочек пластыря на обрезанное место — и горя мало.

Он оделся в свое лучшее платье и, наконец, вышел на улицу. Народ там двигался взад и вперед, как он видел перед этим, находясь в обществе духа настоящего Рождества. Заложив руки за спину, Скрудж посматривал на всех с приятною улыбкою. Вид его был так приветлив, что трое или четверо встречных, находившихся в особенно веселом расположении духа, обратились к нему с приветствием и пожеланием веселого праздника. Скрудж часто потом рассказывал, что это были самые приятные из когда-либо слышанных им звуков.

Он еще не далеко отошел, как увидел шедшего ему навстречу полного господина, который накануне вошел в его контору со словами: «Это контора Скруджа и Марлея, если не ошибаюсь?» Сердце его почувствовало боль при мысли, как посмотрит на него этот господин, когда они встретятся; но он знал, какой путь предстоял ему теперь, и, не задумываясь, пошел по нем.

— Дорогой сэр, — сказал Скрудж, ускоряя шаги и беря старого джентльмена за обе руки, — как вы поживаете? Надеюсь, что вы имели успех вчера. Это очень хорошо с вашей стороны. Желаю вам веселых праздников, сэр.

— Мистер Скрудж?

— Да, — произнес он, — это мое имя; боюсь только, что оно может быть вам неприятно. Позвольте мне попросить у вас извинения. И не будете ли вы так добры, — тут Скрудж сказал ему что-то на ухо.

— О, Боже! — воскликнул джентльмен, пораженный удивлением. — Дорогой мистер Скрудж, да серьезно ли вы говорите?

— Пожалуйста, — ответил Скрудж. — Ни фартинга<sup>[4]</sup> меньше. Тут много отплат за прежнее, уверяю вас. Так вы мне сделаете это одолжение?

— Дорогой сэр, — сказал тот, тряся ему руку, — не знаю что и сказать о такой щедрости.

— Пожалуйста, ни слова больше, — возразил Скрудж. — Приходите ко мне. Не правда ли, вы придете?

— Непременно! — ответил старый джентльмен.

Ясно было, что он намерен был исполнить свое обещание.

— Благодарю вас, — сказал Скрудж. — Очень вам обязан. Сто раз благодарю вас. Дай вам Бог всего хорошего!

Он побывал в церкви, ходил по улицам, наблюдал, как спешили люди туда и сюда, гладил детей по голове, расспрашивал нищих, заглядывал вниз в кухни домов и наверх в окна, находя, что все может доставить ему удовольствие. Ему и во сне никогда не снилось, чтобы прогулка, что бы что бы то ни было могло принести ему так много счастья. После полудня он направил шаги к дому своего племянника.

Раз десять прошел он мимо двери, прежде чем осмелился подойти к ней и постучать. Наконец, собравшись с духом, он быстро подбежал к ней и ударил молотком.

— Дома ли твой хозяин, моя милая? — сказал Скрудж отворявшей ему горничной. — Славная девушка, право!

— Дома, сэр.

— Где он, моя дорогая? — спросил Скрудж.

— Он в столовой, сэр, с барыней. Не угодно ли вам пожаловать за мною наверх.

— Благодарю. Он меня знает, — ответил Скрудж, уже положив руку на ручку двери в столовую. — Я здесь взойду, моя милая.

Он тихонько приотворил дверь и просунул в нее лицо. Муж и жена осматривали в эту минуту парадно-накрытый стол. Ведь молодые хозяева всегда щепетильны на этот счет и любят, чтобы все было, как следует.

— Фрэд! — произнес Скрудж.

О, батюшки светы, как вздрогнула с испуга жена его племянника! Скрудж забыл в эту минуту, что она была не совсем здорова, а то бы ни за что на свете не сделал этого.

— Ах, Боже мой! — воскликнул Фрэд, — кто там?

— Это я. Твой дядя Скрудж. Пришел обедать. Можно взойти, Фрэд?

Можно ли взойти! Чудо еще, что тот совсем не оторвал у него руки от радости. Не прошло и пяти минут, а Скрудж был уже как у себя дома. Ничто не могло быть сердечнее оказанного ему приема как со стороны

племянника, так и со стороны его жены. Так же отнесся к нему и Топпер, когда пришел; так же и толстушка-сестрица, когда она пришла; так же — и все остальные явившиеся потом гости. Отличная была эта компания, отличные были игры, удивительное единодушие, замечательное счастье!

Но на следующее утро Скрудж рано уже был в конторе. Совсем таки рано. Главное, чтобы ему первому быть там и поймать Боба Крэтчита, когда тот опоздает! Достигнуть этого ему хотелось во что бы то ни стало.

Так он и сделал. Пробыло девять часов — Боба нет. Четверть десятого — Боба все нет. Он опоздал на целых восемнадцать минут с половиною. Скрудж сел, оставив свою дверь открытою, чтобы видеть, как тот войдет в свою каморку.

Прежде чем войти, тот уже снял шляпу и свои шарф. В один миг он очутился на своем стуле и быстро заработал пером, как бы желая нагнать опозданное время.

— Эге! — заворчал Скрудж, стараясь, как только мог, подражать своему обыкновенному голосу. — Что это значит, что вы являетесь сюда в такое время?

— Я очень сожалею, сэр, — сказал Боб. — Я опоздал.

— Вы опоздали? — повторил Скрудж. — Думаю, что так. Не угодно ли вам пожаловать сюда.

— Ведь это только раз в целый год, сэр, — оправдывался Боб, выходя из своей каморки. — В другой раз этого не случится. Уж очень вчера весело было, сэр.

— Вот что я вам скажу, друг мой, — произнес Скрудж, — я не намерен допускать повторения подобных вещей. А потому, — продолжал он, вскакивая со стула и так ударив Боба, что тот отскочил назад в свою каморку, — а потому хочу прибавить вам жалованья!

Боб задрожал и несколько пододвинулся к линейке. Ему пришла вдруг мысль ударить ею Скруджа, связать его и, призвав на помощь людей с улицы, надеть на него горячую рубашку.

— С праздником тебя, Боб! — сказал Скрудж таким серьезным тоном, что в нем нельзя было ошибиться, и ударяя конторщика по спине. — Желаю тебе, друг мой, праздника повеселее тех, которые ты видел от меня в течение многих лет! Я прибавлю тебе жалованья и постараюсь помочь твоей бедствующей семье, и сегодня же вечером мы обсудим, Боб, твои дела за стаканом горячего пунша. Разведи-ка огонь да сию же минуту купи другой ящик для угля.

Скрудж оказался еще добрее, чем обещал. Он все сделал и еще

несравненно больше; а маленький Тимоша не умер, и Скрудж стал его вторым отцом. Он сделался таким хорошим другом, таким добрым хозяином и человеком, какого только знал свет. Некоторые смеялись происшедшей с ним перемене, но он не обращал на это внимания, так как знал, что какое бы доброе дело ни делалось, всегда найдутся в мире люди, для которых оно послужит предметом насмешки. Зная также, что такие люди бывают слепы во всем, он думал, что пускай их лучше морщият свои глаза смехом, чем обнаруживают свою болезнь в менее привлекательных формах. Его собственное сердце смеялось, а этого было для него вполне достаточно.

Он больше уже не видался с духами, а прожил остальную жизнь по правилам полного воздержания; и об нем всегда говорили, что он умел чтить Рождество, если вообще кто-либо из живых людей обладал этим знанием. Хорошо, если то же может быть справедливо сказано про каждого из нас! Итак повторим слова маленького Тимоши: да благословит Господь всех нас!

**КОНЕЦ.**

1843

---

**notes**



## Примечания

Пудинг — необходимое рождественское блюдо англичан, как остролистник — обязательное украшение их комнат на святочных вечерах.

Торговая часть Лондона.

**3**

Тридцать-сорок рублей на наши деньги.

Полушка.